

*С-Петербургское товарищество писателей,
композиторов, философов et setera –*
septem octavos (семь восьмых)





МИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
О музыке, зодчестве,
любви и смерти

А. А. КРАШЕНИННИКОВ

В. И. ЧЕРНЫШЕВ

Ц. А. БАЛАКАЕВ

М. Г. ЖУРАВЛЁВ

et **setera**

От составителя

Этот **Сборник рассказов о любви** создается буквально на ходу, в нем в качестве автора может участвовать каждый желающий, а для начала – участники нашего литературно-музыкального товарищества...

Однако на нашем сайте я представляю его как визитную карточку рассказов Алексея Крашенинникова – потому что так случилось, что именно ему принадлежит эта **идея мистических рассказов о любви и смерти** в связи с жанрами культуры, которые нас объединяют – я в это время мучился поисками такого объединяющего начала, которое выражало бы сущность людей творчества, писателей и музыкантов, а для журнала (НРЖ) Алексей прислал несколько рассказов, темой которых была **музыка**, символы которой подчас заменяли живых людей, затем я прочитал трагическое эссе Михаила Журавлёва «Убийство духа города» – о гибели лучшей части Петербургского зодчества (музыки, застывшей в камне), перечитал собственный рассказ о несчастной любви знакомого гитариста – драмы «давно минувших дней» – и вдруг почувствовал, что общим в них является **трагическая любовь** как высшее выражение творческой части человеческой личности...

Но в любви есть ВСЁ, трагедией любовь не исчерпывается, однако в любви проявляется та часть человеческой личности, её земной жизни, та часть чувств, поисков, переживаний, взлетов и падений, которая притягивает людей друг к другу и к миру не столько через мирское в них, сколько через небесное. Вот это взаиморастворение мирского и небесного я называю **мистической** составляющей человека. Здесь человек достигает вершины в страсти, в жертве, в страдании, в самоотречении, в подвиге, в прощении... увы, и в ненависти... Предметом самой страстной любви может стать кукла или цветок для ребенка, мать и дитя друг для друга, собака и кошка, ребенок, взрослый, юноша и девушка, истина, власть, богатство... кто скажет, что любовь Джульетты возвышеннее, чем страсть Скупого Рыцаря, Моцарта, чем Сальери (они оба стоят друг друга), что леди Макбет и «Леди Макбет Мценского уезда» менее достойны сострадания, чем Шристан и Изольда или даже превзошедший всех смертных в жестокости Иоанн Грозный, убивший собственного сына, или не достоин сострадания властелин всех нас, пожертвовавший собственным сыном для **нашего спасения** – нас, способных ради тщеславия и честолюбия украсть и убить, – но ведь и эти чувства воздвигнуты на любовь! А **страсть собирательства** – книг, произведений искусства, земель и предметов роскоши, прекрасных женщин (как у Дон-Жуана)?! А чувство народности – как у Жанны Д*Арк и Бар Кохбы, Ивана Калиты или Гарибальди, а чувство справедливости – как у Софьи Перовской (или это не любовь?)... и, наконец, то, что нас, философов, литераторов, музыкантов, соединило в странном соединении **«семи восьмых»**? Но самая обычная, самая, казалось бы, земная – **страсть мужчины к женщине** (нередко и наоборот), которую хотя бы раз в жизни испытывал всякий, для которой жертвуют и семьей, и детьми и родиной... и очень часто жизнью – не она ли причина всех высших причин, и не из-за нее ли вдруг ищут спасения в монастыре и у Бога и Блаженный Августин и Изгнанный Брянчанинов? Но переплавляя страсть и разочарования **в пламени искусства**, мы спасемся самым высоким способом – в **мистическом озарении**.

Алексей Алексеевич Крашенинников

НЕОЖИДАННЫЕ РАССКАЗЫ



Композитор, скрипач и основатель **Краш-Клуба** в Санкт-Петербурге. Родился в Алма-Ате в 1976 году.

В 2004 году окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу скрипки у профессора Александра Станга, в 2011-м – по классу композиции у профессора Александра Мнацаканяна. С 1999 года – артист оркестра Мариинского театра.

Известен своими произведениями: оперы-драмы «Окаянные дни» (2015) и «Третья карта» (2021); для оркестра – вокально-симфоническая поэма «Цхинвал» (2009), симфонический эскиз «Из слов и звёзд твоих», Симфония (2011), баллада «Белая ночь» (2012), «Популярная сюита» (2014), Territorio de Tango для виолончели и струнных (2017); концерты: для кларнета и струнных (2006), для скрипки и ударных (2007), для саксофона (2022); «Времена года» для камерного оркестра (2019); для ансамблей – три струнных квартета (1998, 2012, 2021), Nosata для детской скрипки и фортепиано (2021), фортепианный квинтет Ludwig, «Ангел у гроба Господня» (2022) и другие. Дополнительно - в следующий раз.

ВАННАЯ КОМНАТА

1

Знаете, в психологии я добился больших успехов. Каких только дипломов и премий у меня нет, скольких наград и официальных признаний я ни получал, куда только и кто только не приглашал меня для помощи в решении самых глубоких психологических проблем.

Но с таким вот случаем я встретился впервые, и это поставило меня в тупик. Решения найти не представляется возможным, однако, если, вдруг, дадите совет, не только не погнушаюсь принять его, а, напротив, буду искренне благодарить!

Итак, сегодня ко мне явилась Музыка...

Приём был в моём кабинете, вернее, в квартире, снятой мной для работы, на Петроградке.

Квартира эта под номером 5, в доме "Трёх Бенуа", площадью около 240 квадратных метров, расположена на пятом этаже знаменитого строения, построенного в 1914 году. Сейчас это шестикомнатная квартира с антикварным интерьером и двумя выходами – парадной и чёрной лестницей. Как видите, уровень моего заработка весьма и весьма высок, что говорит о моей крайней компетентности и востребованности как психолога.

Я обустроился тут уже давно, несколько лет назад. И здесь я чувствовал себя всегда комфортно, как дома. Однако, иногда, по непонятным причинам, что-то на меня начинало давить, моя сущность как бы съёживалась, и я чувствовал странный, необъяснимый дискомфорт. Такое случалось не часто, но, тем не менее, я это заметил уже где-то через полгода моей практики именно там, в этой квартире. Но, так как я психолог, я привык справляться с такими временными трудностями, вовремя переключая себя в правильное направление.

И вот, теперь опишу подробнее:

Произошло следующее.

Ко мне на приём пришла Музыка. Как только она вошла, я понял, что дело не простое. По её внешнему виду, по манере держаться, по твёрдому взгляду, было понятно – она горда и независима, и она практически не подвластна внешнему воздействию. Тем не менее, зачем-то она явилась, значит, что-то было не в порядке, она хотела получить помощь. И пришла именно ко мне. При этой мысли я ощутил одновременно и удовольствие от удовлетворённого самолюбия, и страх (вдруг не справлюсь с проблемой?) и, вместе с

тем, – игривую радость авантюриста, которому бросили вызов, и теперь он готов в лепёшку расшибиться, лишь бы выиграть спор.

– Здравствуйте! Проходите, не стесняйтесь, прошу Вас! – я вежливо указал на стул напротив письменного стола.

– Ах нет же. Я хотела бы туда – она посмотрела в сторону ванной комнаты. – Мы можем поговорить там, в ванной комнате?

Признаться, это меня не то чтобы озадачило, я даже не сразу нашёлся что ответить.

– Да вы не волнуйтесь, я ничего такого не имею в виду! – Она улыбнулась, видя моё замешательство. – Просто там мне будет проще всё объяснить! – её улыбка... Она была настолько странной... В ней был и сарказм, и горечь, и красота, и даже... – любовь! Я прочитал её, это глубоко затаённое чувство, умело спрятанное за внешней насмешкой и напускной надменностью.

– Хмм... Ну, как будет угодно. Вы же, кстати, у нас в первый раз? Откуда вы знаете про ванную? – я был рад, что нашёлся хоть что-то ответить вовремя и по теме.

– О, поверьте, о ней я знаю всё, и уж точно больше Вас!

– Однако! Вы интригуете всё больше!

– Разве? Почему всё больше? Ведь я только что пришла сюда?

... Я впервые не нашёлся что ответить. Удалось только что-то промямлить:

– Ну, ванная комната... Такое место... Неожиданное...

– Поймите только одно. Я здесь совсем не за этим. Вы хороший психолог. Я изучала отзывы, я многое знаю про вас. И я здесь для того, чтобы Вы мне помогли. Понимаете?

– Ну разумеется! Пойдёмте, я буду внимательно слушать.

Мы переместились в теплую ванную комнату, она настояла на том, чтобы я принес туда свечи, электрический свет она категорически отвергла...

Далее последовал её рассказ.

2

– Видите ли, в чём дело... Я думаю, самое верное, это начать с главного. Понимаете, для Вас это будет звучать немного странно, но... Я тут родилась. Вот в этой самой ванной. – она погладила рукой белый глянец, покрывающий старинный чугун.

Я вопросительно посмотрел на неё.

– Объяснитесь, пожалуйста.

– В прямом смысле, я именно тут родилась, это было в тысяча девятьсот тридцать седьмом году.

– Когда? В тридцать седьмом? Так сколько Вам сейчас лет, простите?

– Да вы поймите же, я – Музыка, и у меня не может быть возраста. Я однажды родилась, и теперь буду жить ровно до тех пор, пока не останется последнего моего слушателя. Понимаете?

– Действительно, не может, – согласился я, а сам подумал: "чертовщина какая-то..." – ну а как же вы родились именно в этой ванной? Расскажите!

– Охотно. А, знаете, я вижу, тут совсем всё изменилось. – она окинула взглядом просторное помещение ванной комнаты. – Да и не только тут, а вообще во всей квартире. Но вот именно она осталась. И я так рада... – печальная улыбка осветила её лицо. – Эта чугунная ванная – вы сохраните её, пожалуйста, это ведь настоящая реликвия!

– Пока не совсем понимаю вас, но обещаю приложить максимум усилий.

– Именно тут он меня вынашивал, сначала я только мерцала как отдаленный образ в его душе, а потом стала всё отчетливей проступать, с каждым днём я становилась всё совершеннее, и вот однажды, кажется, в апреле, я родилась. И с того дня я живу в точности такая, какой появилась на свет. И вот в этом моя главная проблема. Понимаете?

– Минуту. Вы родились здесь, то есть, кто-то вас выдумал, ну, если уж вы – Музыка, он вас "написал"?

– Ну да, у вас так принято говорить, написал, да. Если угодно.

– И это был композитор?

Кажется, последний вопрос я задал зря. Она резко выпрямилась, обратив на меня огненный взгляд.

– Как! Вы не знаете? Вы не знаете Кто здесь жил???

– Простите... Я снял эту квартиру для работы. Мне ничего не сказали. А сам я не особенно интересуюсь, кто мог жить в доме, где я ищу для себя рабочее место. Возможно, это моё большое упущение. Простите, если обидел вас, виноват!

Мои слова её несколько смягчили. Она снова приняла удобную позу и изящно откинулась на табурете, прислонясь спиной к кафельной стенке. В свете свечи её лицо приобретало особенную красоту. Взгляд магнетизировал. Она была сильнее меня, я начинал ей поддаваться, однако, это нисколько не огорчало, а, напротив, я всё больше того желал...

– А, стало быть, не вы владелец, – несколько разочарованно произнесла она, – Ничего не буду вам говорить о нём. Думаю, вы сами легко выясните его имя.

– Хорошо, если Вы так уверены в этом, не сомневайтесь, я сегодня же всё выясню.

Она снисходительно улыбнулась.

– Ладно. Прощаю вам, на первый раз.

Неожиданно она озарила меня ласковой нежной улыбкой и я вдруг ощутил мощнейшую тёплую волну, накатившую прямо на сердце. Она меня прощает... Она пришла ко мне на сеанс, чтобы я ей помог, и она меня прощает... И я как дитя безумно радуюсь!

– Ну, что же вы, психолог, молчите? Что же, вас не интересует, почему я здесь? Вас не интересует, в чём моя проблема?

Я опомнился. Конечно, мне нельзя забываться, тем более что моё основное правило – полностью отключать себя во время сеанса с пациентом, и максимально погружаться в его мир. А тут я вдруг потерял над собой контроль...

Встряхнувшись, я сказал, как по её указке:

– Да, конечно! Расскажите, что вас беспокоит?

Она стала серьёзной и немного приблизилась ко мне. В её глазах дышала вселенная.

– Знаете, я очень сильно страдаю... всю мою жизнь... И пока никто, понимаете, никто мне не смог помочь...

При этих словах моё сердце больно сжалось. Я безумно хотел избавить её от какого угодно страдания, но уже почувствовал, что тут очень сложная, возможно, неразрешимая проблема...

3

– Понимаете, в чём дело, я всю жизнь, от самого рождения, никогда не страдала от отсутствия поклонников. И меня любят, и раньше всегда любили. И я уверена, что и дальше ничего не изменится, и люди будут меня любить...

Она посмотрела на меня, как будто ожидая вопроса. Я молчал. Тогда она стала продолжать:

– Проблема в том, что во мне что-то такое сидит, что-то укоренилось, что мешает им любить меня по-настоящему, крепко, навсегда, понимаете?

– Вы хотите сказать, что люди чувствуют в вас нечто неприятное для себя?

– Они чувствуют что-то большее. Им передаётся мой страх.

– Ваш страх? Это хорошо, что вы об этом говорите. Когда вы понимаете свою проблему и озвучиваете её – вы уже начинаете бороться с ней. Нам всем страх не чужд, и у каждого он имеет индивидуальный характер. Расскажите о своём страхе.

– Этот страх достался мне по наследству... Это Его страх, именно его. Знаете, я даже сейчас, находясь здесь, в этой квартире, ощущаю какие-то остатки этого гнетущего давящего чувства. Когда я рождалась, в нём этот страх засел так глубоко, что даже стены в ванной комнате его впитали, и сейчас ещё он там держится...

– Вы сказали, это был тридцать...

– Тридцать седьмой, да, именно.

– Ах, вот что...

– Тогда любой стук, звонок в дверь, захватившая во двор машина, вызывали нечто ужасное в душах людей, а ему как раз было чего опасаться...

– Не представляю, как в таких условиях можно ещё писать музыку!

– А он не мог не писать! Он просто был рождён для того чтобы её писать, понимаете?

– Да, я знаю, такое тоже иногда бывает.

– Это был абсолютный гений, созданный для музыки... Но вот в каких условиях он оказался здесь, в то время. Наверное, тёплая ванная каким-то образом помогала ему абстрагироваться, вот почему в то время он так часто здесь находился. Принимать горячие ванны было не дешёвым удовольствием, но, видимо, ему это помогало успокаиваться...

– Вполне возможно. Итак, вы говорите, что его страхи передались вам?

– Именно так! И они безумно мешают мне быть счастливой.

– Ну тогда хотя бы расскажите, чего именно Вы боитесь?

– Я? Да, пожалуй, мне нечего бояться... – она несколько рассеянно на меня посмотрела.

– Но чувство страха при этом есть?

– Видите ли, у меня нет этого чувства. Проблема в том, что оно принадлежит именно Ему, и оно как-то так устойчиво укоренилось внутри меня. А я даже не понимаю, как его обнаружить, знаю только, что оно есть где-то там, глубоко, и оно отталкивает от меня людей. Вот почему я так одинока!

– Вы одиноки? Разве это возможно при Вашей красоте! – я с удивлением произнес эти банальные, в общем-то, слова. И неожиданно я почувствовал, что во мне стала зарождаться странная, еле заметная радость, сам не знаю от чего...

– Моей красоте... Спасибо, я это много раз слышала, – она горько улыбнулась. – Но слова – ничто...

– Постойте! Слова тоже имеют значение!

– Ах, нет же! Сколько раз я в этом убеждалась, поверьте!

– Хорошо, не будем об этом. Но тот страх, который он вам передал, вы точно знаете, что он есть в вас, если вы сами говорите, что вам нечего бояться?

– Я не знаю, страх это, или что-то другое, но я вижу одно – я одинока. Со мной не хотят остаться. Я нужна только на мгновение. Понимаете? Ко мне редко возвращаются. Во мне есть что-то отталкивающее, и это точное...

4

Вскоре она ушла. Когда время сеанса подошло к концу, я назначил ей такое же время для визита через неделю.

Когда она уже стояла в дверях, я на мгновение задержал её руку в своей...

– Я буду ждать Вас...

– Спасибо!

И вдруг неожиданно горячо она прошептала:

– Знаете, я теперь абсолютно уверена, что не ошиблась, придя к вам! – и с этими словами посмотрела на меня так, что я почувствовал, как она взглядом рассекла мне грудь и вынула оттуда часть бешено бьющегося сердца, унеся его с собой. – До встречи... – Она резко повернулась и исчезла в темноте лестницы.

Мне необходимо было встряхнуться, ведь через полчаса было назначено другому клиенту. Я вышел на балкон, достал сигарету. Шум Каменноостровского успокаивал, а крепкий табак приводил мысли в порядок...

Вскоре я уже принимал высокого гостя.

И вот впервые в своей карьере я поступил крайне непрофессионально, если не погубив, то уж точно, испортив себе репутацию лучшего психолога города.

В силу своего положения не могу назвать ни имя ни даже должность этого человека, скажу только, что это был некий городской судья высочайшего ранга. Чтобы не сильно отвлекаться, вкратце опишу его проблему. Он очень страдал из-за того что отправил в колонию строгого режима невиновного. Отправил потому что так было надо. – Ну, сейчас такое время, сами понимаете, почти тридцать седьмой, по одному доносу можно кого угодно сгноить в тюрьме, а я вынужден подчиниться, иначе просто потеряю работу, – мямлил он мне на вопрос, почему он позволил себе это сделать.

И вдруг со мной произошло нечто небывалое, я буквально взбесился.

– Что вы сказали? Да как вы смеее занимать такую должность! Вы понимаете, что берёте на себя, понимаете? – Я вскочил из за стола, – Вы хотите чтобы я помог вам? Тогда идите сейчас же и донесите на себя! Напишите, что отправили человека в тюрьму по ложному обвинению! И отправляйтесь туда сами! А ко мне с такими вопросами больше не приходите, слышите вы меня?

Он, бледный как смерть, стоял и жалко хлопал глазами.

– Я думал... Я, честно говоря, большие деньги плачу, я нуждаюсь в помощи...

– Что??? Сейчас же свяжитесь с моим секретарём, она вернёт вам всю сумму. И уходите немедленно! Я всё вам уже сказал, больше вы от меня нечего не услышите!

С этими словами я схватил его за руку и выставил на лестницу.

День был испорчен. Я как зверь в клетке ходил по квартире из угла в угол. Мысли рвались, нервы прыгали, руки дрожали. Неплохо для профессионального психолога. Чтобы хоть как-то успокоиться, я выскочил на улицу и быстрым шагом пошёл в сторону Невы. Хорошо ещё, что больше не было клиентов в этот день. Погода была хорошая, без дождя сегодня, поэтому я обошёл практически весь старый центр. С одной стороны, я успокоился, даже позвонил и извинился перед клиентом (однако, встречу ему больше не назначал), с другой – я всё больше думал о ней. Никогда ещё не было такого, чтобы меня настолько зацепило в первое знакомство...

Не помню, каким маршрутом я шёл, но как-то сам собой очутился снова там же, у своего офиса в квартире номер пять в доме трёх Бенуа. Что ж, раз так, останусь здесь. Хотя обычно я сплю у себя дома, на Крестовском.

Я поднялся наверх. Внутри было пусто и одиноко. Страх. Да, вот что, оказывается, так иногда тяготило меня здесь. Он остался в этих стенах, он до сих пор тут живёт. Но ничего, я знаю как с ним справиться.

Я подошёл к стеклянному шкафу и достал оттуда одну из многочисленных подаренных мне бутылок. Благо, я почти не пью, поэтому элитного алкоголя тут у меня было – хоть магазин открывай. Шотландский виски, отлично, то что нужно. На улице уже была ночь, а я сидел один в тишине, пил и курил. С улицы доносился шелест проезжающих машин, да ещё тикали настенные часы в дальней комнате...

5

Я всё думал и думал. Впервые за долгое время я почувствовал недовольство собой, своей жизнью. Казалось бы, всё у меня хорошо. К своим пятидесяти семи я добился небывалого успеха. Мой талант психолога обеспечил мне признание и уважение во всей стране. Ко мне в очередь становились известнейшие люди, не всех даже я мог принимать, отдавая их своим помощникам. Кроме того, я нравился женщинам. Сколько из них приходили ко мне на сеансы просто ради того, чтобы заполучить меня. Не скрою, иногда у них это выходило, хотя я понимал, что это всего лишь сиюминутное баловство, не знаю как для них, а для меня уж точно. Были среди них и замужние, но тут уж я не позволял себе ничего лишнего. Репутация превыше всего. И вот я добился успеха, моё положение позволяло мне ничего не бояться, тем более что, по секрету, я очень многое уже знал о некоторых моих чрезвычайно высокопоставленных клиентах из того, что могло бы их скомпрометировать. Я был для них как духовник, свято хранящий любые самые сокровенные тайны. И, разумеется, ни одна живая душа никогда не узнает этого. Они это ценят, поэтому мне доверяют иногда даже то, что отцу или матери родной не доверишь...

Стоит ли рассказывать, что жизнь моя благополучна... Да нет, не буду, всё же ясно, элитные квартиры, модные тусовки, красивые пляжи, яхты, коктейли, ну, что там ещё..

И вот опять накатило на меня то самое чувство, которое до времени молчит, а потом – как обухом по голове. Одиночество...

Да, я одинок, у меня нет семьи, я и не хотел, в общем-то, иметь жену и детей, мне всегда было комфортно одному, тем более что в женщинах у меня никогда не было недостатка. Но. Проблема была в другом. Одиночество. Когда не с кем поделиться самым сокровенным. Когда некому высказать всё, что накипело. Когда никто не смотрит тебе прямо в душу своими бездонными глазами и не отражает тебя в них как в зеркале, пусть через призму своей жизни, но ведь так даже интереснее... Да, я встречал девушек и женщин, которые были бы рады соединиться со мной брачными узами. Сколько раз я думал и сам об этом, но всё время отговаривал себя и, наверное, правильно делал. И вот сегодня я вдруг почувствовал жесточайшее одиночество. Тоска сдавливала мне сердце. Вся моя жизнь была по сути напрасной, ведь я, помогая людям справиться со своими проблемами, совсем не думал о том, что я-то сам был несчастлив. Эта мысль поразила меня.

Бутылка закончилась, а я только начинал пьянеть. Не беда. В шкафу ещё много. Я достал двадцатилетний коньяк, налил, закурил очередную сигарету... И вспомнил про ванную.

Дальше уже смутно – пошёл туда, принес коньяк, пепельницу, зажёл свечу, разделся, включил воду, лёг в чугунную лодку, уносящую в открытое море...

Помню только, как плакал, вспоминая своё детство, маму...

А потом, вдруг – пришла Она. Моя Музыка.

Она вошла неслышно, и я сразу даже не заметил её.

Она была в моём махровом халате, который висел при входе в ванную комнату.

– Ты? Ты здесь? Но как?

– Любимый мой... Молчи... Не говори ничего! – она ласково смотрела на меня, прижав указательный палец к губам.

А я не мог остановиться, я продолжал плакать, зная, что это всё мираж, бред моего пьяного воображения.

– Не кури так много, тебе не нужно! – она отняла от меня новую зажжённую сигарету и потушила в заполненной до отказа пепельнице.

– Знаешь, ведь я так тебя ждал! Ты даже не представляешь, как ты нужна мне, со всеми своими страхами, мне всё равно, потому что я помогу тебе, а ты – мне!

– Знаю, поэтому я здесь. Я поняла это сегодня. Почему ты плачешь?

– Я не знаю. Наверное, потому что я тоже одинок, как и ты...

– Но в тебе нет страха.

– Не знаю, может и нет... Но я больше не хочу быть один. Без тебя...

– Любимый мой. Я нашла тебя...

Она скинула халат и зашла ко мне...

Её слезы...

6

На утро в новостях проскользнул эпизод о странной смерти известного психолога в своём офисе, вернее даже сказать, в своей квартире. Он был найден мертвым, захлебнувшимся в ванной. Тревогу подняли жители третьей квартиры, находящейся ниже. Около трёх часов ночи их стало заливать, после чего они пытались достучаться до хозяина пятой, но безуспешно. Через несколько минут бригада приехала, дверь взломали. В ванной комнате, посреди разлитой по всему полу воды, валялись размокшие партитуры. Рядом с ванной стоял круглый столик с заполненной пепельницей. Через край ванны из незакрытого крана текла вода.

ЛАВКА КОМПОЗИТОРА

Я представляю себе:
Я открыл лавку композитора.
"Сонаты, Симфонии, Кантаты и
многое другое!
Свежайшее!"

Разговор утром в лавке:
– Здравствуйте, сонаты есть?
– Доброе утро. Есть, но
вчерашние. Две по цене трёх. Будете
брать?

– А почему нет сегодняшних?
– Извините, пока нет, но можем предложить прелюдии.
– Какие тональности?
– Ну, в тональности мы не пишем.
– Да? Странно, сейчас уже все почти пишут в тональности...
– Все – это минималисты?
– А что вы так ухмыляетесь?
– Да нет, ничего. Если хотите тональности, идите в лавку
напротив. Только там у них вообще ничего свежего нет.
Минималисты – в принципе – не свежие...
– Ну, это как сказать! Почему это не свежие? У них там всё время
очереди стоят.
– Ну, как хотите. Хотите пожрать – идите к минималистам,
хотите музыки – берите у нас...



- Простите, что? Пожрать?
- Ну да, *пожрать паттернов*, они их там в таких удобных пакетиках продают, в кино, кстати, отлично идут, *лучше попкорна!*
- Да я не ем такую дрянь!
- А! Ну так вот, это объясняет тот факт, что вы здесь.
- Не знаю, просто зашёл к вам посмотреть.
- Ну, смотрите.
- А что есть сегодняшнее?
- Сегодняшнего пока ничего нет. Рановато ...
- Одиннадцать – это рановато?
- Молодой человек, я понимаю, конечно, вы хотите что-то ухватить подешевле. Поэтому решили свеженького прикупить. Но, видите ли, есть объективные обстоятельства, из-за которых мы на сегодня ничего нового не можем предложить.
- Интересно, что же это за обстоятельства такие?
- Шеф-повар в запое.
- В запое??? Я не ослышался?
- Да-да, в запое, не ослышались! И у нас сейчас открыта запись на свежие шедевры. Как только появятся. Хотите записаться?
- О, разумеется! В запое! Это же чудесно! Это ж будет что-то очень славное!
- Так и я говорю!
- Тогда записывайте меня!
- Но это не бесплатно.
- Сколько я должен, если буду первый в очереди?
- Одну Хорошую Бутылку Виски!
- Согласен!
- По рукам.



МЕТЕЛЬ

Друзья!

К большому сожалению, я какое-то время не смогу быть на связи, так как нахожусь подо льдом в Фонтанке. Дело в том, что сегодня после спектакля в Мариинке, который закончился на сорок минут позже (ну, вы же понимаете, почему) я ночью возвращался домой на велосипеде. Было ужасно холодно. Но холодно, это ещё ничего. Хуже другое.

Поясню.

В таком холоде я люблю надеть наушники, включить своё недописанное произведение, чтобы послушать и обдумать дальнейшую работу над музыкой. А зимой в них и ушам не холодно, и ехать приятно, не торопясь, прямо до дома.

И вот, в тот момент, когда я очутился на самой середине моста через Фонтанку, у меня музыка как раз дошла до кульминации, заиграл Вальс. "Этот вальс, кажется, мне удаётся – подумал я, – он бешеный и на разрыв. Надо бы подумать, что будет после него".

Я притормозил, чтобы дослушать эпизод. И тут неожиданно налетела сильнейшая метель, подхватила меня, закружила в воздухе и через какое-то время бросила в воду. Велосипед при этом спокойно стоял на том же месте, где я его оставил.

Разыгралась страшная вьюга, и никто из прохожих, уткнувшихся в свои куртки и капюшоны, не заметил, как я летал надо льдами и потом нырнул. Вообще, мне было довольно радостно кружить в снежной мгле, так как я был полностью в вальсе. Это всё очень даже хорошо сочеталось. Но вот потом музыка прервалась, так как наушники промокли и перестали работать. Теперь вот я тут сижу, и какое-то время не смогу быть на связи. Вообще, судя по прогнозу, через пару дней будет потепление. За это время я как раз успею дописать. А уже 24-го декабря будет премьера. Приходите!

Кстати, если кто-то окажется на мосту, скиньте, пожалуйста, пару бутылок пива и пачку сигарет. Заранее благодарю!

ПОЛУСТЁРТЫЙ ПЕРСОНАЖ

Я почти не существую.

Дело в том, что художник, который меня нарисовал карандашом, почему-то решил меня стереть. Чёрт побери. Это было больно и обидно. Он потратил минут пять и полрезинки. Вот уж, действительно, резинка – враг всего живого. Если вы настоящий художник, никогда не пользуйтесь резинкой, ибо это грех, скажу я вам!

Итак, я – жертва греха, полустёртый персонаж, бледное отражение великого замысла.

Особенно пострадали ноги. Их он почти полностью стёр. Теперь я еле передвигаюсь. Хотя мне особенно некуда передвигаться, да и зачем?

Лица у меня тоже почти нет, но это и хорошо. Сейчас не нужно иметь своё лицо. А раз нет лица, то и характер практически отсутствует. Он очень сильно тёр в этом месте, видимо, понимал, что это самое важное, что в первую очередь нужно убрать.

В принципе, я сейчас идеально подхожу как индивид любому государству, ни лица, ни характера, правда вот только нужно бы с ногами, был бы гораздо полезнее...

Ну да о чём это я.

Вообще, быть наполовину стёртым вполне себе неплохо. Например, в любой толпе и давке я прекрасно умеюсь и всегда могу проскользнуть между людьми. А в магазине при случае можно незаметно умыкнуть что-то вкусненькое. Жить-то как-то надо.

А недавно я случайно встретил прекрасную полустёртую незнакомку. Она шла, неприкаянная, мимо Исаакиевского собора и грустила. Я подарил ей засохшие и почти истлевшие листики клёна. Это было так неожиданно для неё, что она, изумлённо взглянув на меня своими красивыми глазами, первая предложила мне познакомиться. Её звали Ан__ика. Дело в том что имя было почти стёрто но крайние буквы остались. Что ж, сказал я, Ан__ика тоже красиво звучит. Мы посмеялись, а когда я назвал своё, тоже почти полностью стёртое имя, она прямо залилась смехом. Это было так искренне, мило и приятно, что я нисколько на неё не обиделся. Мы, видимо, очень подходили друг другу, у нас завязался самый непринуждённый разговор, в ходе которого выяснилось главное. И её и меня рисовал один и тот же художник. А дальше она рассказала мне вот что.

Это был художник-график, он всю жизнь рисовал только карандашом. И он был настолько самокритичным, что почти все свои работы безжалостно стирал резинкой, прежде чем их выбросить. Редко какой портрет или пейзаж оставался оформленным в рамку и продавался. За свою жизнь он сделал столько работ, которые были практически стёрты, что из них получился целый мир. Тут были и леса, и поля, реки, озёра, были и города, трамваи, машины, ну, в общем, практически целый полустёртый мир с людьми и животными.

И она знает как туда попасть. Меня это безумно заинтересовало.

А что же вы тогда делаете здесь, в настоящем мире, спросил я её.

Ищу друга. Там мне никак это не удаётся, поэтому я пришла сюда, ответила она.

А мне кажется, мы с вами подходим друг другу, сказал я.

И мне.

Тогда пойдём туда, в тот мир?

Да. Ты знаешь, там очень хорошо.

И мы пошли. Это был сквозной подъезд в доме номер 7 на Фонарном переулке. Именно там жил тот художник. Мы зашли в тёмную парадную, там пахло сыростью. Наверху раздавался шум, там что-то передвигали.

Слышишь? Это освобождают мансарду. Он умер неделю назад. Однако, идём.

Поднявшись на полпролёта, она показала мне почти незаметную дверь, ведущую во двор.

Сюда, сказала она.

Мы спустились, она отворила дверь в прозрачный мир и мы уже никогда больше оттуда не возвращались.



А. А. КРАШЕНИННИКОВ

НОВЫЕ РАССКАЗЫ



ТЕРМЕНВОКС

Она жила в самом центре старого Петербурга. Девушка с улыбкой Джоконды. Это был один из типичных тёмных дворов в Коломне, где так неуютно чувствуют себя приезжие и так просто и привычно - питерские. У неё была небольшая, но очень приятная светлая квартира на третьем этаже. Когда я впервые туда попал, меня сразу же поразила эта штука, которая стояла у неё в комнате. Этот странный предмет, деревяшка с металлической трубкой и антенной, на первый взгляд, ничего особенного не представляющий, но только до тех пор, пока ты не начнёшь с ним взаимодействовать. Поразил, конечно же, не потому, что я впервые в жизни его увидел, нет. Девушка с улыбкой Джоконды мне о нём уже всё заранее рассказала, ну да я и сам давно знаю об этом чуде техники. Я говорю про инструмент Терменвокс. Это такая своеобразная электро-пила, ну, вы слышали когда-нибудь, как звучит пила, когда на ней играют смычком? Только тут никакого соприкосновения с материалом, всё идёт от взаимодействия электромагнитных полей и чёрт его знает чего там ещё. Не суть. Главное было другое. Он, этот её Терменвокс, эта машина, он был живой. И я это понял сразу, как только она включила и показала мне его в действии, а именно  сама немного поиграла на нём. Так вот, в этот момент я явственно увидел лёгкое зеленоватое свечение, исходящее от его антенны, оно мягко и очень плавно начало изливаться и окутывать её руки, а звук, издаваемый при этом самим инструментом, был настолько тёплым, каким-то непередаваемо-счастливым, мелодии не было, но звук, сам звук! Это было просто волшебство... Я до этого несколько раз смотрел передачи про Терменвокс, поэтому, в общих чертах, имел представление о том, как он звучит (несколько отстранённый, фантастический звук, часто использовался в наших советских кинолентах, особенно в жанре научной документалистики). Но сейчас... Нет, такой звук нельзя описать словами, да и воспроизвести его тоже, наверное, невозможно... В этом звуке было что-то очень личное, сильное и волнующее, но при этом оставалось ощущение неживой материи, ну, как бы это сказать... Как будто робот ожил, благодаря этим чудесным рукам... Я даже не знаю, есть ли смысл продолжать говорить об этом, ибо беспомощность моего литературного языка просто не позволит выразить то, что я почувствовал в этот момент...

Но самое интересное случилось потом. Она отняла свои божественные руки от инструмента и с этой её открытой, невыразимой, подчиняющей себе любого, мало-мальски ценящего истинных женщин, улыбкой Джоконды посмотрела на меня. Мы молчали. Она - потому что спокойно ждала моей реакции на демонстрацию чудо-инструмента, а я - потому что вперился в неё, что называется, во все глаза, и не знал, что сказать. Я был очарован, околдован, обезоружен этой нимфой, этой святой, этой русалкой, от неё исходила такая жгучая энергетика, видимо, эта адова машинка подпитала её каким-то магнитным полем, я стоял перед ней с глупейшим видом, но ничего не мог с собой сделать. И, прежде чем мой мозг выдал мне хоть какую-то команду к действию, я услышал:

- Ну, иди ко мне...

Она стояла напротив меня, нас разделял только этот странный робот, этот непонятный полуживой экспонат, изобретённый где-то сто лет назад, примерно когда был построен этот дом в Коломне.

И вдруг я отчётливо разглядел красновато-оранжевое сияние, исходящее от Его антенны. Оно плавно, сантиметр за сантиметром, стало перетекать ко мне и к ней одновременно. Свет в комнате каким-то образом погас, мы с ней видели только друг друга и Его, связывающего нас вместе этим оранжевыми сиянием то ли любви, то ли греха, то ли просто счастья... Я посмотрел на Неё. Её улыбка светилась ещё более загадочно и властно (если вы наблюдали когда-нибудь за улыбкой Джоконды, вы меня поймёте), а в её глазах читалась абсолютная победа и, одновременно, страсть, вождение, смирение и... нежность...

- Ну что же ты?

После этих слов моё самоощущение как личности приравнялось к (лишний пробел) нулю. Я уже не могу писать "Я", так как, с этого момента, это уже был не Я. Это был "Раб". Раб... Или Робот...

Который просто, как по команде (да и, чего там, это и было - по команде!) охваченный страстью, бросился к прекрасной ведьме...



Но...

Как только я протянул к ней свои руки, уже не помня себя от вожделения, и двинулся навстречу своему счастью - меня пронзил страшный, испепеляющий удар током...

Боль...

Страх...

Ужас...

И, при этом...

Не помню, было ли это на самом деле, или нет, но я услышал громкий издевательский смех.



Но - это был не Её смех. Это смеялся Он... Истошно, мерзко, нечеловечески-радостно Он меня ревновал. К девушке с улыбкой Джоконды...



Он.

Терменвокс.

Он мне отомстил...

Он почти убил меня.

Я получил очень сильный удар, от которого, наверное, я должен был умереть. Но мне повезло. Я просто рухнул на пол и потерял сознание.

Следующее, что я помню, это машина скорой помощи, этот холодный трясущийся фургончик, где я лежу на синей кушетке, а надо мной склонилась медсестра, или...

кто там она...

с улыбкой Джоконды...

ТЕНЬ

Сегодня случилось. Я потерял голову. Влюбился без памяти. Влюбился в тень. Она ждала меня за углом дома на ***-й улице. Почему-то я оказался именно там в тот самый момент, когда в беспроектной декабрьской мгле сумрачного питерского дня тучное небо на несколько минут рассеялось, и показались они - тени.

Свернув за угол дома, я остановился, любуясь красками усталого зимнего солнца, неожиданно вылившимися на вспыхнувшие фасады домов. Деревья, машины, люди — всё приобрело чёткие очертания, а тени заиграли особенным радостным отблеском, так неуместным в наше депрессивное время. Но мне было абсолютно всё равно до времени, поэтому я в восхищении стоял и рассматривал происходящее. И вот тут я обратил внимание на Неё. На тень. Она была на стене дома, рядом с которым я стоял. И, при этом, она была сама по себе, ну, - вот именно - никому не принадлежала. По всем законам физики, рядом со мною должна была находиться девушка, собственно, отбрасывающая на стену дома эту тень. Но нет. Никого не было.

Тень ласково мне улыбалась. Я в нерешительности обернулся посмотреть, вдруг кто-то ещё стоит рядом, и её улыбка адресована не мне. Однако нет, я был один на этой стороне улицы. А на стене дома было две тени - моя и её. Моя, как и полагалось, шла прямо от моих ног по асфальту и перебрасывалась на жёлтую штукатурку, а вот та, другая, начиналась прямо снизу стены, на тротуаре же никакого даже намёка не было.

"Удивительное дело!" - подумал я. В это мгновение Тень поприветствовала меня, слегка присев и грациозно поклонившись. Я кивнул в ответ. Потом поднял руку, как бы протягивая ей. В ответ она охотно протянула свою, и на облезлой стене столетнего дома отразилось наше нерешительное рукопожатие.

Неожиданно заиграл телефон. Звонили с работы. Да, я, как всегда, опаздывал. Внутренне чертыхаясь от досады, я что-то быстро бросил в трубку и спрятал поглубже в карман.

Тень всё так же была рядом и приветливо мне улыбалась. Она была очень красивой и милой. На вид я дал бы ей не больше тридцати. Я заворожённо смотрел на неё и думал, что же будет дальше. Уходить совершенно не хотелось.

- Да чёрт с ней, с работой! - полупшепотом произнёс я...

И тут произошло нечто потрясающее. Она как-то очень естественно, легко и непринуждённо подошла к моей тени, положила одну руку ей на плечо, а пальцы второй переплелись с моими, ну то есть, с тенью моих пальцев на стене... Наш поцелуй длился секунд пять, но за эти мгновения всё внутри меня перевернулось. Я буквально взлетел в небеса. Немыслимое счастье обрушилось на меня такой мощной волной, что я едва стоял на ногах, а сердце бешено колотилось. Мы уже не целовались, но безмолвно стояли, крепко обнявшись, и никто и ничто нам уже не было важно в эти минуты...

Увы, всё исчезло через каких-то полчаса, когда небо снова заволокло тучами. Она растворилась вместе с моей тенью, и мне стало невысимо горько от ощущения этой потери. Какое-то время я ещё простоял около дома, в надежде на последние проблески солнца, но - тщетно.

После чего уныло я потащился на работу.

Этим объясняется моё сегодняшнее опоздание на двадцать минут на репетицию. Прошу руководство меня простить и не наказывать строго. Обещаю, что такого более не повторится.

С уважением, артист оркестра, N



ЛЕДОКОЛ КРАСИН

Сегодня я снова оказался там, на набережной, как в прошлый раз в начале июля. Но сейчас время белых ночей почти закончилось, поэтому было уже совсем темно (а дело было что-то около часа ночи), и золото подсвеченного Благовещенского моста отчётливо отделяло стальную чернь Невы от грозового покрывала, тяжело нависшего над городом.

Я, как и прежде, оставил велосипед наверху и спустился к самой воде. Прямо передо мной красовался ледокол "Красин" — небольшой, но внушительный памятник человеческого величия над природой. Странно, я как будто уже видел его много раньше именно здесь, на этом причале у Горного института...

Я закрыл глаза.

Тишина почти полная, изредка прерываемая только далеким грохотом грозы откуда-то с южной стороны.

Молчание.

Неужели никто не тронет меня за плечо, не шепнёт мне что-нибудь сокровенное, неужели не произойдёт ничего невероятного в эту ночь?

Я ждал минуту, другую, но тщетно. Чудеса не случаются по заказу... То ли настроение не то, то ли белые ночи уже не белые, но ожидание моё, кажется, было напрасным.

Я разочарованно вздохнул, но тут уж ничего не поделаешь. Однако у меня, как всегда, было чем разбавить меланхолию одиночества.

Привычным движением сняв рюкзак, я достал бутылку трехлетнего коньяка, кажется, армянского, если верить тому, что написано на этикетке. В боковом кармане я нашёл одноразовые стаканчики и купленную дня два назад шоколадку. Три года и два дня, подумал я, что там было? О! Это же было начало августа 21-го, сумасшедшие деньки! Я тогда был вне себя от любви к одной певице, с которой познакомился, как ни странно, совершенно случайно в одном из баров на Рубинштейна! Помню, как раз примерно в такое время мы плавали с ней по рекам и каналам, было очень романтично, и даже проплывали прямо тут недалеко от набережной. Ну да ладно, сейчас не об этом, лучше вкусим, так сказать, дух времени...

Я наполнил стаканчик на четверть, отломил шоколадку и уже готов был принять чудесный напиток, как вдруг услышал мягкий женский голос:

- Ты уже здесь!

Эти слова отчётливо прозвучали со стороны реки.

Вот оно. Всё-таки, не зря приехал. Чудо совершалось на моих глазах.

Из воды не спеша, тихо и спокойно, выходила прекрасная молодая женщина, статная и грациозная. Я пока не мог разглядеть черты её лица, но чувствовал на себе спокойный и твердый взгляд из-под ниспадающих до самой груди длинных вьющихся волос. Странно было то, что она как бы поднималась ко мне, выходя на берег, хотя в этом месте набережной был причал, и дно там никак не могло быть мелким. По высеченным из мрамора плечам и рукам струилась вода, а река, казалось, не хотела отпускать от себя эту волшебную нимфу с узкой точёной талией и стройными бёдрами. Я стоял как вкопанный, не в силах оторваться от этого зрелища. Она гипнотизировала меня, и было совершенно невозможно не поддаваться этому гипнозу. С каждой секундой её приближения моё сердце билось всё сильнее, а мысли становились всё путаннее. Главное же было то, что я совершенно не испытывал ни страха, ни удивления, видя, как эта русалка приближалась, ласково смотря мне прямо в глаза.

И вот, наконец, колдунья вышла ко мне. Вблизи она оказалась ещё великопнее. Узкое симметричное лицо с красивыми бровями, темные как уголь глаза, прожигающие насквозь, хищная улыбка, обнажающая ряд прекрасных кораллов.

Неожиданно, когда ей оставалось пройти до меня - теперь уже по мостовой - всего каких-то полтора метра, я услышал звуки мотора, доносящиеся издалека. После чего из-за носа ледокола показался небольшой прогулочный катер, плывущий в сторону Благовещенского моста. Казалось бы, в этом не было ничего странного (время как раз подходило к разведению мостов, сейчас вся Нева будет кишеть такими вот маленькими и большими катерочками), если бы не одно обстоятельство. Оттуда, из катера, в эту сторону явно кто-то пристально смотрел. И в тот момент, когда речная богиня подошла ко мне вплотную и обвила мою шею двумя горячими руками-змеями, а её уста открылись для страстного поцелуя, там, сзади, на воде, маленький катерок попал в сноп света прожектора ледокола. В одно мгновение я увидел нечто жуткое. В катере было трое. Один был за рулём и смотрел вперёд, а двое сзади на скамейке для катающихся были мужчина и женщина. Женщина была той самой певицей, за

которой я ухаживал три года назад, она отвернулась, смотря в сторону ещё не разведённого моста. А он... Он смотрел прямо на нас. В его глазах был какой-то страх и неопределенность, он как будто всматривался в нашу сторону, пытаясь что-то разглядеть. Но самое страшное было то, что этот кто-то, это был... я. Именно я, собственной персоной. Я совершенно отчётливо узнал свои черты лица, мне с берега было очень хорошо видно всё до мелочей, от рисунка на футболке до роговых очков, которые я носил тогда, три года назад. И тут со скоростью молнии в голове пронеслось воспоминание того, как тогда, три года и два дня назад, в начале второго ночи мы плыли с моей новой знакомой певицей на катере мимо Горного института в сторону Благовещенского моста, и, проплывая мимо какого-то большого корабля, я невольно повернул голову к набережной и увидел в темноте, как стройная обнажённая девушка целуется с мужчиной на берегу, а потом, буквально через мгновение, раздаётся слабый стон, и она увлекает его под воду. Всё это было так странно, неразборчиво и неясно в темноте той августовской ночи, к тому же, где-то вдалеке громыхала гроза, не позволившая ясно расслышать, что же доносилось с берега, что я решил не поддаваться наваждению, тем более что рядом со мной находилась прекрасная девушка, с которой мы вместе наслаждались прогулкой. Помню только, что меня всего пронизал на какое-то мгновение дикий животный страх смерти.

Это было тогда, три года назад...

Сейчас же я был здесь, по эту сторону событий. И, едва только меня поразила жуткая догадка, всё произошло в одно мгновение. Я почувствовал речную воду на своей одежде, и сквозь её холод - обжигающе горячее тело речной колдуньи. Прижавшись ко мне вплотную, она впилась в меня жадными губами, а руки её буквально связали меня, и я, как парализованный, полностью оказался в её власти. Потом я почувствовал, как она тащит меня к краю набережной, а ещё через секунду мы уже оказались у самой воды. Мне стало страшно, я хотел закричать, но её смертельный поцелуй не отпускал ни на мгновение, и всё что я смог издать, это беспомощный сдавленный стон. Затем мы потеряли равновесие и провалились в холодную воду. Последнее что я увидел, это был ледокол "Красин", молчаливо покачивающийся на воде, а вдали раздавался далёкий грохот грозы и шум удаляющегося катера.



В. И. ЧЕРНЫШЕВ

Романтические фантазии

ВЕДЬМА

ЧЕЛОВЕК-ВЕСНА



ВЕДЬМА

Мне всю жизнь казалось, что я заблудился, тащусь уже без сна по мрачному лесу, пытаясь выбраться на светлую поляну, и уже отчаялся выбраться.

А как-то заблудился и вправду, всю ночь шел, не зная куда, небо было в тучах, и ни луна, ни звезды не могли указать дороги. Страшно было не то, что ночью я в лесу, а не дома, а что лес стал чужим и гадким, тянулись бесконечные топи, дорогу перерезали глубокие канавы, поваленные деревья, кустарник тесный и колючий, какие-то коряги и борозды.

В таком лесу я не мог остановиться и переночевать, я должен был из него выбраться куда угодно, хоть дальше от дома, но чтобы было светло и красиво. Казалось мне уже, что весь мир порос тесным и колючим, что нет другого мира, что простирается на север и на юг все одно и то же, грязные канавы и черное небо, кривые чахлые деревья и мокрые топи.

Господи, да неужели всю жизнь так вот и жить, так и бродить в этом мраке без выхода и исхода? А ведь и бывает так, это уж кому как повезет, если небо тучами затянуто, то ни ум, ни характер не помогут, одно болото сменится другим, и чем упорнее идешь, тем в более мрачные и тяжкие топи и тем безысходнее!

Что же, разве нет таких страдальцев, даже и с возвышенной душою, сгинувших во мраке, проклиная этот мир?

Господи, может быть, твой Ангел помогает мне выходить из дебрей лесных и не дает пропасть совсем? Но и мое небо не светлое, а тучи бегут одна за другою, и лишь в разрывах туч я вижу звезды и месяц и воскресает надежда...

Тяготясь обыденностью, привычным нудным миром с его заботами и безрадостным долгом, я всю жизнь мечтал вырваться из рокового круга тесной пустоты, прорваться за грань, отделяющую наш мир от иного, высшего, прекрасного и чудесного мира, найти иную жизнь и самому стать иным.

Всю жизнь я мечтал о Преображении, в котором душа и мир переменяются так же, как переменяется и плоть и Дух Бытия, когда человек просыпается от сна. Бывает невкусной вода, и жаждущий ищет источник свежей и чистой воды. Я же не искал воду, я мечтал и стремился к тому, чтобы вода обратилась в вино.

Не находя иного мира в собственной душе, стал я искать его в случайных встречах и необычных положениях, полюбил бродить

по ночам и перелезает через заборы. Иногда подходил ночью к освещенному окну и заглядывал в него, надеясь, что стекло – та грань, которую я ищу, и за стеклом откроется! Полюбил приходить на вокзал и всматриваться в таинственные окна ночного поезда, заглядывал в заплаканные женские глаза, пренебрегая веселыми, подходил к пьяным женщинам и к мужчинам, валяющимся в канаве.

Люди необычные светят ярко, а горит в них тоска и, когда она звенькивает жалобно и без отзыва, единственно только канава приходит на помощь и простирает объятия.

И кто не останавливается, тот разжигает ее все пуще и пуще, пока не вспыхивает огнем вся душа разом и не разбивается сердце как бокал с вином.

Много было встреч и с мужчинами, и с женщинами, пытающимися перейти роковую грань, ничего мне эти встречи не объяснили и ничем не помогли, но однажды, когда было не с кем выпить, а выпить было надо, поставил я бутылку на кухонный стол и налил две рюмки... И тут словно тень чья-то подошла и уселась напротив, и подумал я выпить с тенью.

Славно мы провели вечер, бутылка почти опустела, я вышел на улицу, приставал к женщинам, они смотрели гневно и оскорбительно, и я вернулся домой.

Тень скорбно сидела, меня дожидаясь, и я подумал, что уж тени я смогу пожаловаться на жизнь, и мы пойдем друг друга.

Много теней перебивало с тех пор за кухонным столом, и чтобы не потускнели их образы насовсем, решил я записать то, что о них знаю.

Снова захотел пережить те горькие поцелуи и пьяные ночи, услышать страстные слова и тоскливые взгляды.

Года полтора назад познакомился я с человеком одержимым, Николаем Васильевичем Лебедевым, о котором тоже следовало бы написать подробнее, но пока я на его судьбу отвлекаться не буду, ибо передо мною другая ... Николай Васильевич бредил гитарой, играл сам, разыскивал гитаристов, собирал все, что мог узнать о гитаре, писал ее историю, и сгорал от страсти. Искал он что-то неясное самому себе и временами казался странным. Так странен человек, отправившийся на поляну за цветами и проходящий равнодушно мимо лютиков и жарков, колокольчиков и купавниц, и возвращающийся с пустыми руками... Что же он ищет? – спросите вы.

А ищет он Аленький цветочек, которого нет ни на этой поляне, ни на другой, ни на одной поляне в мире, которого нет нигде, но который краше всех цветов, и лютиков, и купавниц, и без которого жить нельзя. И либо найти Аленький цветочек, либо умереть.

Один существенный недостаток был в Николае Васильевиче – он не пил, не пил совсем, и пока я шатался с ним по дворам и закоулкам в поисках Аленького цветочка, вел, к несчастью, и сам трезвую жизнь и чуть вовсе не разучился пить.

Как-то забрели мы к гитарному мастеру, старенькому уж старичку совсем, еле душа держалась, Иннокентию Петровичу Саврасову, который художнику известному был как-то родней, к нему многие гитаристы приходили, и Николай Васильевич любил потолкаться среди них, посмотреть, поговорить, а то и игру их послушать. Пришли мы, а у старичка гость один, высокий парень, лет тридцати пяти, глаза печальные, впалые, щеки тоже как-то впали, худой и одет неважно. Ходит по комнате как-то небрежно, подойдет к одной гитаре, проведет по струнам, повесит и говорит презрительно – не то все, не то, Иннокентий Петрович!

Другую возьмет, тронет струны и тоже отложит ... А Иннокентий Петрович ходит перед ним чуть не на цыпочках, смотрит подобострастно, отвечает робко, униженно.

Меня даже злость взяла – Ах, думаю, наглец какой!

Дождались мы его ухода, Николай Васильевич и говорит – Что же ты, Иннокентий Петрович, не одернул его? Такого разве к гитаре можно подпускать?

– Что вы, что вы! – замахал Иннокентий Петрович руками, – да послушали бы вы, как играет он! Я плакал, на колени перед ним встал, и руку поцеловал.

Сереженька, говорю, теперь умирать не страшно!

Он Бог, Бог он, а Богу все позволено, даже если б все гитары мои об стену поразбивал, я б простил ему, все б ему простил.

Николай Васильевич так расстроился от слов этих, он ведь тоже на колени вставал и плакал, выскочили мы, за один угол завернули, за другой – да нет уж парня долговязого, след простыл.

Вернулись к старичку, да не утешились.

– Приходит, говорит, иногда, а где живет, не знаю. Он ко мне не столько гитары смотреть ходит, сколько выпить, я ему маленькую в шкапчике держу, придет, выпьет, поиграет мне, и уходит невесть куда... Знаю, зовут его Сергеем, живет у Пяти углов, жена у него будто с год тому ушла, а больше об нем ничего не знаю, не рассказывает.

Ну, ушли мы от Иннокентия Петровича и началась для нас веселая жизнь – как с работы приду, мне Николай Васильевич уж звонит, торопит, поесть не дает, в семь мы с ним уже на Пяти углах и пошли по дворам – где гитару заслышим, так сразу туда – но все напрасно, никто про Серегу не знает...

Недельки две прошатались так-то, милиционер нас уже приметил, в участок грозился сволочь, пришлось и ему бутылку покупать.

Ноябрь стоял холодный, сырой, компании то больше не на скамейках, а в подворотни жались и гитару не жаловали.

Но – пришло к нам, наконец, и счастье. На Разъезжей заглянули во двор один, сидят на скамеечке пацаны, человек пять, а у них девчонка одна на всех, в короткой юбочке, замерзла вся, они ее и греют, то один обнимет, то другой, она вроде отбивается от них, а глазки закатывает – нравится.

Подожли и мы, сели сбоку ... Пацаны на нас глянули, один и говорит Николаю Васильевичу – слушай, отец, вали отсюда, чего приперся? Тебя нам здесь не хватало!

А Николай Васильевич к лавке прирос уже, гитара там у пацанов была, он в нее и впился – Мальчики, – говорит, – не ругайтесь, я слышал, у вас гитарист один иногда играет, Серега – верно? (Спросил-то наобум, а ждет уверенно)

– Серега? Приходит иногда. Но если послушать хочешь, так за бутылкой беги, без бутылки играть он не станет.

– Мальчики! – восклицает тут Николай Васильевич – я две бутылки сейчас принесу, Вы только задержите его, если придет, я мигом!

Вскочил тут же и побежал, и я за ним. Через двадцать минут вернулись с бутылками, подходим, смотрим – верно, тот самый Серега сидит, гитара меж колен, ладони ко рту прижал, греет, сам весь жалкий какой-то, понурый...

Николай Васильевич к нему с бутылкой сразу, неловко как-то суетиться начал, сырок достает, у самого аж руки задрожали, как наливать стал. Налили и пацанам, и девчонке засинелой, по такому случаю и сам он стопочку выпил (а надо вам сказать, что с собой мы носили стопочки полиэтиленовые, а вот бутылку заранее купить не догадались – то есть я то догадался, да не стал Николаю Васильевичу раньше говорить, а то по холодным блужданиям душа не утерпела бы). Выпил и я малость, по сердцу грусть разлилась, Серега гитару положил на колени и ударил по струнам. Видно было, что доставалось его подруге, уж и дребезжать струны начали, и пальцы его плохо слушались, срывались временами, погрел он еще руки, подмышки сунул, выпил еще стакан и снова по струнам ударил.

Боже мой, как он играл!

Ах, не знаю я, как играл он, и рассказать не смогу ... То играли и звенели не струны, а сердце его рвалось и звенело и обнаженное на холодном ветру плакало перед нами.

Плакал и Николай Васильевич, и у меня, грешного, спазмой горло схватило.

Тут вдруг Серега вскочил и, не прощаясь, пошел быстрыми шагами, мы его не стали удерживать... Пацаны нам адрес его дали, и договорились мы назавтра часам к шести нагрянуть к нему прямо домой, и там уж познакомиться как следует и гитары всласть послушаться.

Но – роковое витало, пронизывало его жизнь, и нас коснулось дыхание Рока.

Вот ведь, не днем раньше, не на следующий день встретили мы Серегу, а именно в вечер тот, когда рвались струны души его, слышали мы эти струны, а больше их слышать нам не пришлось.

Подошли мы к его квартире, а дверь настежь, и какие-то важные люди входят и выходят, так что мы и войти не решились.

Но – узнали все, не входя. Опоздали придти мы. Часа три назад Серега пошел из дому с потрепанной своей гитарой, куда пошел, никто не знает, а был уже пьян-пьянехонек, и на ногах держался с трудом, недалеко ушел от дома, переходил Загородный проспект и тут рок и настиг его, гитара отлетела на тротуар и ударилась о тумбу, и струны в ней лопнули. В одну секунду смерть настигла, гитару и гитариста.

Сколько после Николай Васильевич ходил, узнавал, упрасивал, унижался, а сумел, все-таки гитару эту разбитую достал, но чинить не стал, а так, разбитую, на стену и повесил.

Осталась от Сереги тетрадка, там были стихи, ноты, записки разные, иное я и для себя выписал.

ИЗ ЗАПИСОК ГИТАРИСТА

Посмотрел в зеркало – лицо опухло, рука дрожать стала ... Пить не стоило бы, да что взамен?

Было б взамен – рюмку б об пол разбил, не дрогнул ... – Но ...

Иным, говорят, вредна соль.

Что же, можно и без соли щи хлебать, да не так вкусны будут. Можно и из жизни соль вынуть, да только вот вопрос – стоит ли жить в жизни такой?

Конечно, вино – не соль жизни, а пошлая замена ее, но если подлинной соли нет, и нигде в мире нет, и никак не отыскать, хоть головой бейся об стену, то – что ж? Тогда и вино годится!

Сегодня не буду пить, сегодня у меня день воспоминаний, две недели как Ника ушла. Играть не могу трезвый, стихи – умерли, и вот решил припомнить наваждение, которое на меня нашло и в плен взяло, но слаще которого нет ничего, перед которым и гитара, и стихи – пар жизни, а не жизнь сама.

Увидел ее я полтора года назад.

Ехал в метро, мартовским днем, уже тепло было, но с утра всегда холодно, не разобрать, что днем будет, и я в пальто длиннополом, шапке зимней и шарф вокруг шеи обмотан... Понуро было с утра, такой вот понурый и ехал, как воробей мокрый сижу, да и в шапке жарко.

На площади Александра Невского села напротив девчушка, роста среднего, глаза синющие, губки пухлые алые, нос прямой, брови темные, лицо безмятежное и чуть-чуть припухшее как ото сна, будто только что с подушки головку оторвала...

Такая невинность, такая безмятежность в лице, так полуоткрыты губы по-детски, что ну – в пять лет можно ангелом таким прелестным сидеть! Она так сонно безмятежно взглядом скользнула, на мне пока не задержалась, а я смотрю пристальнее, и сердце отчего-то колотиться начало, не унять.

Нет, вижу, конечно, не пятилетняя девочка, но все ж таки девочка, наверное лет двенадцати, молоденькая такая, никак девушкой назвать нельзя, но что удивительно – так сидит, так одета, такая глубина жизни в лице и взгляде вместе с невинностью, что девочки в двенадцать лет не могут же быть такими! В ушах кораллы рдеют, на шее цепочка тоненькая золотая, пальто расстегнуто, на кофточке верхняя пуговица расстегнута и цепочка вниз в ложбинку скользит, я взглядом вдоль нее скользнул и смутился.

Тут девчушка на меня посмотрела и ожгла, и в туман мягкий я стал обволакиваться.

Смотрела она на меня – странно... Взгляд был нежной и страстной женщины, почти бесстыдный взгляд, но и невинный вместе, покорный и гордый, манящий, загадочный. Бог его знает, что это был за взгляд! Лицо преобразилось, теперь проснулась женщина, о, теперь ей было девятнадцать лет!

И я не мог отвести взгляда, я взглядом молил ее смотреть тоже, я целовал ее взглядом. Я пропадал, умирал, я был в ее власти, валялся в ее ногах, я смотрел отчаянно, как смертник в последнюю секунду смотрит на небо.

И ведь я ждал ее! Я целых три года создавал в воображении, я вылепил эти детские губы, темные брови, невинность бесстыдства, я видел ее в снах, я ждал ее всю жизнь, и вот – дождался!

Так мы ехали, почти вечность, но поезд остановился на станции Приморская и у выхода из метро я догнал ее и заговорил. Я был жалок. Я лепетал ей, что Поэт и музыкант, что буду жить для нее, построю ей хрустальные чертоги, а она ослепительная стояла напротив и смеялась надо мною.

– Ведьма – воскликнул я – Вы ведьма! Но все равно ... Я должен Вас увидеть еще раз!

Солнце нас заливало, она была одета роскошно, так одеваются только гетеры, и я никак не мог решить, двенадцать ей лет или двадцать, дитя она или женщина.

Конечно, я был смешон и жалок, но я умолял ее взять мой адрес, я сказал, что ведь может настать минута, когда отчаяние настанет, а пойти будет некуда, вот тогда она и придет ко мне!

Она взяла адрес, засмеялась на прощанье и ушла.

Что мне было нужно? Только ли женщина? О, нет! Женщина была мне нужна, ибо только в ней было спасение и новая жизнь, но без спасения и новой жизни мне не нужна была никакая женщина ...

Я ждал чуда.

В звуках гитары, в резких аккордах, пронзительных ассонансах я молился и кричал небу – отзовись!

Но – отзывались только соседи и бегали жаловаться.

Я не ожидал чуда как изменения личной судьбы, неожиданного подарка, поддержки или взлета. Ни императорские почести, ни сокровища миллиардеров, ни знания и слава ученого меня не волновали, но проломиться сквозь каменные стены тюрьмы, в которую меня запер мир, можно было лишь при помощи чуда. Необходимо нарушить естественные законы, чтобы явилось новое сознание. Если камень всегда падает вниз, и никогда иначе, то существует только этот проклятый мир, а иного нет. Я ждал падения камня к небу, ждал бескорыстно, ибо ни денег, ни почестей мне его взлет не сулил, но только бы содрогнулся весь мир и треснули его каменные законы, и вздыбилось бы мироздание. Другая жизнь стала бы возможной и оправданной, ибо Необходимость как единственная мера бытия больше не царствовала бы.

Так прошел год, и вот апрельским мокрым вечером, в субботу, в мою дверь постучали робко.

Сердце сразу упало. Я даже не подумал, что это она, я ничего не подумал, но взволновался, голос пропал, и открывал медленно, медленно, боясь испугнуть.

Да, она стояла на пороге, такая же красивая, такая же роскошная, обольстительная, и обволокла взглядом. Опомнился я не сразу, уже в прихожей, когда она удивленно спросила:

– Что ж Вы не разденете меня, не предложите войти?

Лихорадочно снял я пальто, помог снять сапоги (заедала молния) и когда она уже надела тапочки, вдруг бросился перед ней на пол и обнял ноги.

Воистину, она была неземных кровей. Я поднялся с пола смущенный и красный, а она стояла невозмутимая и высокомерная. Провел ее в квартиру, скороговоркой показал остатки бывшего великолепия, усадил на диван, сам сел напротив, и мы замолчали.

Тут вдруг спасительная идея мелькнула – Послушайте, Вы будете пить?

– Буду...

– Тогда ... тогда ... я мигом... Вы пока начистите картошки (Господи, неземную заставил картошку чистить!). А я... я принесу.

Хорошо хоть – деньги были...

Купил шампанского, вина и водки, конфет, пряников, и бегом запыхавшийся прибежал. Ведьма уже картошку начистила и скатертью стол накрыла.

В тот вечер я был в ударе.

Играл ... да, мне самому начала нравиться игра моя, а ведьма сидела околдованная... Я бы и всю ночь играл, но она подошла, отобрала гитару, сказала, что хочет спать.

Я постелил ей на диване, себе на пол бросил старую шубу, прикрыв одеялом.

Ведьма смотрела с улыбкой на мои приготовления.

– Ты что, на полу собираешься спать?

– Да ...

– А я?

– На диване.

– А потом?

– Когда потом?

– Разве ты всю ночь и проваляешься на своей шубе?

– Да.

– Ты что, псих?

– Пожалуй, и псих...

– Тебе женщины не нужны?

– Ты – нужна!

– Так почему?

– Я хочу большего ...

– Чего?

– Безумия... Я хочу, чтобы ты меня любила. Нет, вовсе не того хочу я, что теперь так легко называют словом “любовь”, а чтобы огонь упал с неба и спалил нас обоих насмерть, а мы бы благословляли смерть. Когда ты на меня в первый раз смотрела, время останавливалось и не существовал ни мир, ни я сам. Я хочу, чтобы время остановилось и для тебя.

– Такого не бывает, дурачок, да никому и не нужно, а тебе первому...

Ника не приходит, такая тоска на сердце, какой и раньше не бывало. Когда она в первый раз пришла, я поклялся, что пить больше не буду совсем – и вот, увы, напиваюсь теперь, когда уже не пью, чаще чем раньше, когда еще пить не бросил.

Ника, Ника! Кого из вас люблю больше, тебя или гитару? Я тогда пытался объяснить, что мне нужно, я снова взял гитару и сыграл “Каменный плач”. Что это такое?

Вот, вообразите, лежит себе один камень у ручья, на него сверху небо смотрит и солнце светит, и жить хорошо. Ручей течет и мурлычет, в пору и камню мурлыкать тоже. И вдруг, не знаю я, не знал и он сам, почему, вдруг узнает он, что он – камень, что сердце у него не взорвется от боли и любви. И находит на него тоска великая такая, что лютее любви и боли, и начинает он томиться желанием перестать быть камнем, а стать живым и страдающим.

Эту тоску вырывал я из струн, и милой сказал: – Жду Преображения, ничего не приму и ни на что не соглашусь, если не переменится мир и я сам так, как переменяется мир в Преображении. Я не стремлюсь играть хорошо, даже не стремлюсь играть лучше других – нет, призываю, томлюсь об игре, в которой разрушаются законы мироздания и оно становится другим. Я хочу играть – магически, так я люблю и тебя. Человеческим пресытился я, и стучусь в другой мир. Хорошо ли там будет, не знаю, но и ты из него, хотя – не сознаешь.

Спал я на шкуре медвежьей крепко, поздно проснулся – обольстительная испарилась, и только легкий запах духов остался.

Потом я ездил до Приморской каждый день, но все не мог ее встретить; а все равно уже не сомневался, что дорожки наши встретились и не разойдутся, и они сошлись.

Пришла поздно вечером, пьяная, глаза горели и прожигали насквозь, и бросилась в мои объятия. Но в моем сердце пересохло что-то и я взял гитару. Гитару я обнимал и целовал, и рвал струны, и Ника плакала.

– Ты знаешь, кто я? – спросила она.

– Да, знаю, богиня.

– Нет, я ведьма!

– Хорошо, ты – самая божественная богиня ...

– Подожди, сейчас ты узнаешь, какая я богиня. Ты кого любишь больше, меня или гитару?

Я молчал. Во мне внутри холодеть начало. Я молчал.

– Вот возьми свою гитару, и разбей ее об стену! – и я буду только твоя и ничья больше. А не разобьешь – уйду навсегда, и ты меня больше не увидишь. Разобьешь?

Я молчал. Ведьма захохотала...

– Зачем тебе моя гитара? – спросил я.

– А ты от меня разве не того же требуешь? Разве не хочешь ты, чтобы я больше никому не принадлежала, а сам принадлежишь целому миру?! Ну, так, голубчик, я задам такой пир, какой еще тебе и не снился! Я пошла сзывать гостей... Я еще вернусь – но не одна!

Человек суеверный, я придумал себе новую веру – воскресным утром, усаживаясь за чай, расставляю я два прибора – в последний год живу я замкнуто, и утром пью чай один, но второй прибор ставлю для Ники.

Так прошло шесть воскресных утр, и я был верен себе, и даже если томилось что-то в голове и ныло, я ограничивался крепким чаем. Наступило седьмое утро, и сердце екнуло. – Господи! – сказал я ... и остановился.

У нас уговор.

Я отступился от Господа после того, как он от меня отступился. Видите ли, до сих пор я твердо уверен, что ничего, влияющего на Судьбу, человек одними своими силами сделать не может. Например, человек может замыслить и написать роман, но будет ли это гениальный Роман, зависит от Господа, от того, вложит ли Господь в человека великое чувство и змеиную мудрость. Так и любовь, то есть огонь, падающий с неба, зажжет ли человеческое сердце или напротив, обратит его в пепел, никак не подвластно воле того, на кого огонь сей пал.

Люди, конечно, в большинстве думают иначе, потому что те мелкие чувственные приключения, которые выпадают на их долю, им как будто подчиняются, и пойти ли сегодня вечером в кино, или в подворотне распить бутылку, точно они сами решают, да и никакой уважающий себя Бог не станет вмешиваться по мелочам.

Но вот стать ли Дон Кихотом и, невзирая на людские насмешки, искать свою Дульцинею, стать ли Дульцинеей из пустой и пошлой бабенки – о, для этого одной человеческой воли мало.

И потому, зная ничтожество своей силы, обратился я как-то к силе небесной, но небо надо мною только посмеялось.

– Ну, что же, ладно, – сказал я. – Больше просить ни о чем не буду, и вообще знать Тебя больше не знаю.

Так вот мы с Господом расстались, и я даже перестал в церковь ходить.

Итак, в седьмое утро, сердце екнуло и я чуть не изменил уговору, но сдержался... Но чай не спешил пить, медлил, уж чайник остыл и я поставил его вновь на огонь – тут дверь скрипнула и медленно стала открываться. А я не закрываю ее на крючок или щеколду, и если нажать на ручку, то она и откроется. Я встал. Я уже знал. Нет, только еще верил, но – без сомнения – что это она, моя Ника.

Дверь отворилась широко, и на пороге она предстала, робеющая и смущенная. Робость была в движении руки, рука нерешительно опустилась к бедру, и так замерла, а в лице – в лице порхала какая-

то неясная улыбка, почти насмешливая, чуть ли не наглая... ну, улыбку эту я сразу схватил и понял, колкая улыбка была иголкой ежа, которую он от волка выставляет, я смотрел все внимательнее, да, даже слишком внимательно, то есть взгляд мой сгустился до опасной черты, когда уже обрывается сердце... Она мой взгляд поняла тоже... по своему поняла, как рабовладелица признает и понимает раба.

И я почувствовал, что снова падаю в ту бездну, в которую уже однажды падал, глаза ее широко открылись и проглотили меня, взгляд обволакивал, отступал, приближался снова, разгорался тем жарким пламенем, как в морозный день горит костер, обещал и муку и блаженство и дарил их... и не только взгляд затопил меня! Губы ее приоткрылись и влажно блеснули, чуть-чуть дрогнули, так, как при слове “да”, и еще, и еще дрогнули, и я слово слышал, и упивался им, я переживал то состояние, когда слово становится плотью.

Слово даже не было произнесено, но было замыслено и воплотилось.

Что же это было такое? Я позже вглядывался мучительно в воспоминания, и кажется, все понял, но ... писать не решаюсь...

Может быть, мучительное блаженство длилось лишь мгновение. Вот передо мною стояла робкая девчонка лет пятнадцати, насмешливая от смущения, а наваждение мне только приснилось.

– Ну, вот я и пришла! Ты ждал?

– Как же! Я жду тебя семь недель, и даже чаю налил.

– Только чаю? Я думала, ты будешь ждать меня с цветами и шампанским.

– Дорогая! Цветы и шампанское приобрести несложно, мы пойдем гулять и зайдем за цветами. Но я жду тебя семь недель и готов подарить все, что имею – мечты, воображение, тоску и любовь.

– Как, всего семь недель? Иные ждут и по семь лет.

– А я разве не всю жизнь ожидаю тебя? Я прошел все сады и улицы этого города, заворачивая и в подворотни, но тебя нигде не было.

– Хорошо, я верю, что ты ждал и искал именно меня! А ты разве один?

– Да!

– Почему же?

– Со мною трудно ужиться. Я слишком покорный, а женщины этого не любят, поэтому даже самая властная не выдержала больше года и ушла.

– Но ведь и я не насовсем пришла... Пока – только на несколько дней... А потом – не знаю ... Знаешь, меня прогнали из дому, и

жить негде... то есть, конечно, нашлось бы где, но я о тебе вспомнила, и решила заглянуть... Так я поживу у тебя? Я не надоедливая. Ты будешь делать, что хочешь, писать, пить чай, играть на гитаре, а я заберусь с ногами в кресло, как кошечка, и так посижу. Хорошо?

Странная неделя пролетела как мгновение, я не буду ее описывать, и не смогу! Одно только скажу – это была молитва. Ника спала, а я молился.

Но странная неделя промелькнула и настало утро, когда Ника исчезла, и я снова ставил на стол две чашки и медлил пить чай.

Я, конечно, запутаюсь в противоречиях, если буду следовать дальше по течению мысли, хотя это все же не значит, что мысль не верна. Так и плывя вниз по реке, которая распадается при впадении в океан на тысячи протоков, мы можем потеряться в них и воскликнуть – река пропала!

Но, распадаясь, мысль не уличается в ложности, ибо, подойдя близко к истине, мы должны помнить, что никакою мыслью Истина не обнимается, и мысль, следовательно, бывает ложной не тогда, когда не охватывает истину, а когда не подводит к ней вовсе.

Ну и ладно, Бог с ними, с противоречиями! Я говорю о Религии. Итак, религиозность есть связанность и, хотя бы человек и не сознавал своей связи с тем, что вне его, но она может существовать независимо от его знания.

Всякая ли связь есть Религия, боюсь утверждать несомненно...

Но ученый, живущий для науки, хотя бы его наука была отрицанием Бога; революционер, преданный революции, пусть даже революция его взрывает храмы и сжигает иконы; самый обыденный человек, далекий от общественного дела и философского сознания, а занятый исключительно работой и семьей – все они религиозны, и Бог их – наука, революция или семья. Они служат и живы некоей внеличной идеей, они продолжены за грань своего “я” и соединены с тем, что вне их.

Я же освободился от иллюзий и ограниченности, стал духовно свободен и – страшно одинок.

Священные тексты утратили священность, как детские игры теряют пленительность, когда ребенок превращается во взрослого. Можно умиляться воспоминанием; можно с умилением смотреть на игры детей; можно на мгновение притвориться играющим – но ведь не сделаешь детские игры самой своею жизнью, если только не сойдешь с ума, как не наденешь всерьез короткие штанишки.

Я прихожу в церковь, чтобы вспомнить детство. Многие думают, что Бога нет, но заставляют себя верить в него. Я знаю, что Бог есть – и не могу в него *верить*.

Еще меньше жизнью может наполнить меня наука и познание. Вот я сижу с затаившимся сердцем у двери и жду шага Вероники. Если она придет – я буду хотеть жить. Если же не придет – ничто меня не утешит. Неужели так важно знать, кто правил в Китае в 3-м веке до нашей эры? И не все ли равно, на сколько частей разбивается атом при столкновении... Раздался звонок – и чашка выскользнула у меня из рук... Разве я буду считать осколки чашки?

Форма и строение сцены, на которой заканчивается моя трагедия, ничего для меня не значат. Вероника меня не любит! И пусть хоть исчерпается атом до дна, и пусть он воистину неисчерпаем – разве от этого мое сердце разобьется менее?

И, не в том дело, что поскользнулся, влюбившись... Я по своей воле – когда одни пошли болеть на стадион, другие приникли к микроскопу, а третьи обратились к Богу – пошел искать Нику. Мне скучно все другое.

Быть может, Бог, Наука и повседневная жизнь – это ваша любовь, поэтому они и позволяют вам жить и светят вам. А мой свет – любовь к Нике!

И, может быть, атомы, молитвы или прорыванье каналов на коже Земли – все равно что рождение женщиной детей, и привязывает вас к тому, что вне вас – а мое дитя – моя Ника!

Но стала ли она моею религией, и привязала ли меня к жизни? Увы, утерял я свободу мало! Не более, чем тот, кто закрывает дверь изнутри – в его ведь воле выйти из укрытия! Так я знаю, и знал всегда, что любовь не заключила меня в себе, а я ее как птичку в клетке стерегу и лелею. Может быть, я не люблю ... не люблю так, как любят, когда несомненно чувствуют, что любовь – цель и оправдание жизни.

Если бы Ника бросилась передо мною на колени, я не знал бы, что делать с ее любовью. Я испугался бы ее любви больше, чем боюсь, что она меня навсегда покинет.

Вот она какая нужна – гордая, холодная, издевающаяся, унижающая меня беспрестанно, но привязанная ко мне страстью отталкивания...

Хотя... но это несбыточно... однажды, за минуту до пробуждения, мне почудилось, будто ангел, кроткий и бесконечно любящий, прижался щекой к моей руке и беззвучно заплакал, жалея меня. И я услышал – или мне почудилось? – Мой бедный, несчастный, мой одинокий покинутый мальчик... Несбыточно... ведь надо было вместить меня со всей моей отделенностью от мира, как мокрого котенка согреть за пазухой, и понять про меня все – и всю мою философию, и безрелигиозность, и одиночество, уязвленную гордость, отчаяние, и – нежелание больше жить...

Да, если бы полюбила меня преданной жалостью – не гордостью, желающей меня поработить, а жалостью, готовой позаботиться обо мне и пожертвовать собой для меня.

Ах, как я сладко распелся! К черту бестолковые грезы! Довольно смотреть сны! Надо взглядеться пристальней в реальность!

Да, я больше не хочу жить... Но я хочу уйти высокомерно, торжествуя над жизнью, а не униженный ею. Не оттого уйду я, что ты не любишь меня! Самая ненавистная для меня мысль, будто я протянул руку за похлебкой, а мне не дали, и счастливые даже готовы пожалеть меня – унижающей жалостью!

Нет! Я ударил руку, протягивающую мне милостыню... Вам ли дано накормить меня?! А, черт! Этот высокопарный тон... Но кому же я объясняюсь? Не импульс, не минутное чувство ведут меня. Я отказываюсь от вашей жизни в ледяной холодности, так и не смейте думать, будто в запальчивости!

Теперь второй час ночи, Вероника не пришла и сегодня. Ну, что же, я не буду спешить. Лягу-ка я спать... Я ведь свободен и, следовательно, умереть могу не спеша...

Вероника мне была нужна, чтобы смерть мою оправдать. К жизни она меня все равно не привязала бы, я не поверил бы в вечность и абсолютность ее любви, а тогда стоит ли? Ну, если она сегодня пригласила меня на танец, а завтра страстно к другому прижмется? Временное не может быть основанием жизни... Самый заядлый материалист нуждается в вечном еще больше сектанта, он над вечностью Бога, Духа, Истины, Любви и прочей вечной мишурой смеется, а сам-то, сам-то! Заботится об – шире некуда – пользе человечества ... строит счастье всех грядущих поколений... Истину с большой буквы презирает, а до какой напыщенной гордости гордится своим положительным мировоззрением! Наука, мировые законы, прогресс – вот камни его Храма ... Еще как Храм-то ему нужен! Еще как он молится! Только не Богу живому, а схеме, абстрактному идолу – науке, прогрессу, пользе человечества!

Нет, мне Вероника нужна, чтобы пуше разочарованность мою отенить!

Вот я в последний раз пришел с надеждой – и отвергнут. Ну, теперь гордо уйду – и презираю ваше отвержение!

Прости за многословие, но еще немного попрошу твоего внимания...

Ника, если еще раз ветер тебя занесет ко мне, и случится это раньше, чем стану совсем невидим, не провожай за черту. Я и живой-то чувствовал себя бессильным около тебя, а уж теперь-то...

Все говорят, что надо жить... Мол, иным очень трудно дается жизнь, а сокрушая преграды, живут ... Но – живет человек вовсе не

потому, что тащит жизнь за собой как по глинистой мокрой дороге тащиши сапоги, нет, силу надо приложить, чтобы остановить жизнь, а так она сама собой несется как метеор, пролетая и безвоздушные пространства, и в плотном воздухе дымя и раскаляясь, и только врезавшись в землю, в ней уже остается навеки. Попробуй потащить жизнь после того как она остановилась – вот тогда, напрасно раскачивая ее (так забуксовавший автомобиль качают) и спросишь себя – а зачем жить? Стоит ли? То есть, спросишь – жить ли? Впрочем, врезавшись в землю, уже не спросишь, но застряв в вязкой глине, и спросишь, и проклянешь.

Ну, почему я не могу жить так, как все? Люди вон смеются, радуются жизни: утру – что солнце встало; вечеру – что работа кончена... Жизнь весела, заманчива... Скажи им, что не могу больше, не поймут, осудят, засмеются...

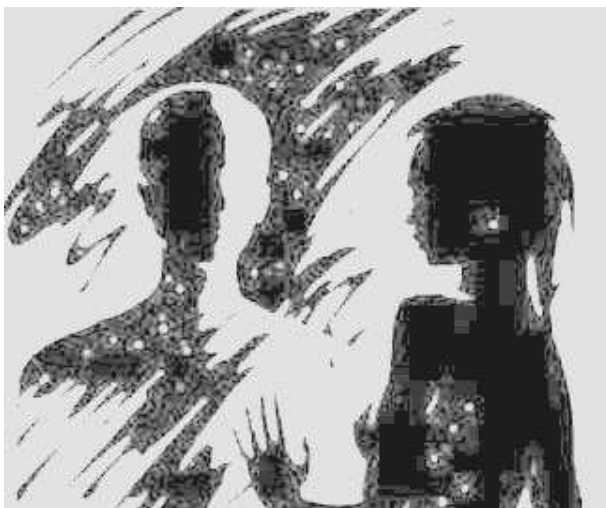
Вот я в растерянности перед днем сегодняшним, и перед завтрашним... Но что же было вчера? Как я прожил все прошедшие годы, и чем жил? Что наполняло жизнь и душу? Ведь наполняло что-то, светил свет... А кажется, будто только сейчас проснулся, и раньше ничего не было...

Нет, прежде я не жил! Вся моя жизнь была – лишь ожидание тебя! Но уже и ждать перестал. Уже впал в забытие, и время текло и несло меня бессознательно.

И вот – очнулся... Почему же теперь хочу убежать из этого мира, только ли из-за тебя? Нет, мука моя в другом, и ты не виновата в ней – напротив, ради тебя я отдалил свой побег, который, быть может, жил во мне всю мою жизнь. Трудно объяснить тем, кто не знал другого мира, почему я из него хочу убежать – так, кто родился в тюрьме и никогда не был на воле, станет ли тосковать и плакать и биться об тюремные стены, и не посчитает ли безумцем того, кто и плачет и бьется? Я одного лишь боюсь – что и за тюремными стенами – та же тоска и скука, и холод, и мрак душевный...

Ника, Ника....

ЧЕЛОВЕК-ВЕЩА



Соната о неправильной любви

Сегодня ночью я заболел ангиной. Проснулся в четвертом часу, долго полоскал горло, спать было тяжело, вспомнились вдруг школьные годы, время, когда я сочинил свой первый рассказ и прославился. С тех пор, вот уже пятьдесят лет, рассказы я почти не писал, и вдруг захотелось снова окунуться в действие, а не только в размышление, как все последние годы моей умозрительной литературы.

Воспоминания протекали во мне, как весенние облачка на сквозящем небе, я видел юные лица, слышал чарующие голоса, и сам я был и юн и чарующ.

Прошное пришло ко мне не случайно, давила и болезнь, и окружающая жизнь, и все то, что вычитывалось в газетах: а хотя телевизор я не смотрю (да его у меня и нет), но газеты еще читаю.

А прочитываю я ужасные вещи, например, приехала в вымирающую деревню съемочная группа кино. В деревне работы нет, есть только самогонка и закуска, и последние старушки и последние вымирающие их дети. Режиссер собрал народ, оглядел, я, говорит, вас всех осчастливил. Три месяца вы у меня будете как короли зарабатывать. На всю оставшуюся жизнь заработаете. Плачу по тыще рублей в день! (А они тыщу-то и видом уже не выдывали). Работы много, и для плотников, и для столяров, и для землекопов. Будем снимать и батальные сцены.

Проработали так мужики два дня (а он платил им поденно), получили две тыщи, на третий день на работу не вышли.

Что такое?

Устали. Нам пока хватит. Езжай в другую деревню, там мужики еще свежие, еще не уставшие.

1.

Стояли прелестные дни конца апреля, когда небо было бездонно, солнце припекало, все вокруг словно было напоено музыкой. Но с утра было прохладно, и я одел куртку. К тому же продрались сзади мои единственные брюки, а куртка скрывала изъяз.

День был воскресный, утром я сделал что-то по обязанности, а потом встретался с Алей, по ее просьбе.

Я кончал восьмой класс, мне было пятнадцать с хвостиком, а Аля заканчивала школу, у нее впереди оставались выпускные экзамены и начиналась взрослая жизнь.

Аля была самая первая, самая необыкновенная красавица в школе, да и в нашем городке, да, возможно, и во всей нашей Восточно-сибирской России, в которой красавицами трудно было кого-нибудь удивить.

Не только приударять за нею никто не решался, но даже смотреть.

Я был смущен, не столько от самой Али, сколько от проклятой дырки в брюках, а обнаружил я ее уже утром и зашить не успел.

– Идем на речку! – приказала Аля. – Да сними свою куртку, жара начинается!

Сама она была в весеннем платье, рукава были длинные, но на груди был небольшой прямоугольный вырез, который не столько открывал, сколько намекал, а намеки на меня действовали иногда пуще, чем самые откровенности.

Я шел, стараясь не поворачиваться к Але спиной, и курткой прикрывая себя сзади, поэтому был не так разговорчив, как обычно.

– Я вот о чем хочу поговорить с тобой... Ты всех с толку сбиваешь, вот что. Себя-то ты уже давно сбил, ну, тебе это, возможно, нипочем, но и самых толковых ребят из моего класса, мы собирались с ними вместе ехать учиться в Красноярск, в крайности в Новосибирск, а теперь они решили податься в Москву, им теперь ФизТех подавай! А мне что делать? Я теперь одна с девчонками остаюсь?

– Да это они мне сами про ФизТех напели, я тут ни при чем...

– Не оправдывайся, ты всегда при чем. Сейчас еще всю школу взбаламутил какой-то необыкновенной стенгазетой, дескать на весь край прославимся, уже корреспондент из Красноярска приезжал. Что десятиклассников от газеты отставили, это хорошо, но что моя Анька целый день вчера возле тебя делала? Учти, она еще в седьмом классе, голову ей не дури! Это она по виду такая большая, внутри она махонькая! Ей, может быть, еще рано читать Есенина? Да и тебе стоит ли, ты сразу под его влияние попал, ну что ты пишешь: «Неустанно брожу по дорогам.» По каким дорогам ты бродишь? И почему неустанно?

– Но мы же идем?!

– По тропинке. К речке.

Речку нашу взрослый мужик перешагивал, а я, разбежавшись, мог перепрыгнуть. И все же там было хорошо. Росли кусты черемухи и акации, была запруда, в которой летом купались, а далее начинались совсем дикие заросли кустов, в которых прятались парочки.

– Постой, дай я с тобой померяюсь! О, да я тебя выше!

– Я еще расту. Не успеешь оглянуться, станешь мне по плечо.

– Вряд ли... Но не расстраивайся, я не в укор про рост сказала, не к тому, что, мол, ты еще не дорос, я тебя очень ценю, только оберегаю. Надеюсь, сама я больше расти не буду, сейчас у меня античные пропорции, на заключительном спектакле я буду играть Пенелопу.

А ты читай Блока, он тебе полезнее. И меньше про любовь, рано тебе еще. А тем более Аньке. И из драмкружка не перетаскивай таланты в свою стенгазету, театр важнее! Да не дергайся, нужно мне на твой... на твою спину смотреть! Приходи к четверем, бабушка борщ сварила, велела тебя пригласить, я, собственно, за тем и пришла. И Блока у меня возьмешь. Да кстати, если что-то новое сочинил, тоже принеси. А пока будешь борщ доедать, я тебе брюки заштопаю!

(Хранил я эти брюки, хранил, даже уже когда у меня и новые появились, без дырки).

2.

В девятом классе жизнь закипела с утроенной силой. В сентябре нас посылали на картошку, я там влюбился в председателю племянницу, синеглазую девочку с модной городской прической: она училась в районном центре и уже начинала форсить.

Чтобы привлечь ее внимание, я сочинил рассказ, редактору районной газеты он понравился, напечатали его в двух номерах, на разворотах – рассказ получился длинный.

Начался скандал чуть не всероссийского масштаба. Редактора от работы отставили. Меня вызвали на какое-то расширенное судилище, где заседали чины чуть не с генеральскими лампасами. Завуч школы, Мария Андреевна, испуганно меня уговаривала: Я поставила в обсуждение тему «Границы вымысла в современной литературе. Влияние попутчиков». Ты должен будешь признать, что в рассказе большая часть нетипична для советской действительности, мы тебя пожурим, пообещаем провести общественное обсуждение, а ты пообещаешь рассказ творчески переработать, дескать, на ошибках мучимся...

Я так и пообещал, но один там запел про оппортунизм, я ему и врзал, дескать, сегодня на повестке дня борьба с догматизмом, догматики свою злость и скрывают за старыми песнями.

Кончилось тем, что меня исключили из школы.

Впрочем, это было не впервой, в седьмом классе исключали за Дневник, тогда это переживал я трагически, а теперь в дни неожиданных каникул я бродил свободно по городку и пожинал плоды славы. Все почти были на моей стороне. Седовласые старцы переходили улицу, чтобы пожать мне руку.

В один из солнечных дней середины октября побежала через улицу ослепительная красавица в том же весеннем платье с прямоугольным вырезом.

– Ага, упиваешься славой? Скоро в кабаках начнешь стекла бить, как Есенин? Кстати, моя бабушка его притязания отвергла, вот так! Хотя он и посвящал ей стихи. А ты мне всего одно, да и то, может, Аньке...

Читали мы в общежитии твой рассказ, я думаю, что это все чепуха. Начинаешь с того, что, дескать, водка полезна, потом ты со своим беспутным дядей пьешь эту гадость, идете в музей и разлагольствуете, что обнаженные девушки привлекательнее, поэтому, мол, у греков скульптура и была на высоте. Ну где тут политика? Чепуха есть, а политики нет! Я вчера приехала, встречалась уже с Артемом, он теперь освобожденный секретарь, собирал бюро, поставил вопрос об исключении тебя из комсомола. Я ему и говорю, как же вы его исключите, если он никогда не был комсомольцем?

Посмотрел на меня безумными глазами, говорит, ничего, мы его сначала заочно примем, а потом исключим, чтоб другим неповадно!

Это, говорю, ты Василечкиного Дневника начитался? Тебе бы в монастырь пойти, грехи отмолить, а ты упорствуешь! Революционная бдительность все никак не утомонится!

– Узость и догматизм. Парень он не такой уж плохой, но догматизм его съел.

– А ты откуда такие слова знаешь? Ах, да, ты же с семи лет газеты читаешь, я и забыла!

– А сама ты откуда знаешь про газеты?

– Анька рассказывала. Узнаю, что ты ей стихи посвящаешь, убью! Обоих. Я, может, народоволка...

А кстати, как тебе мое платье?

– Да ведь это то самое, в котором ты весной щеголяла.

– Я его перешила. И вырез сделала больше. Постой, давай примеримся. О, мы уже сравнялись! Это ты не меня ль догоняешь? Только смотри, не перестарайся, чтоб не перегнать!

Тут, отчего-то, мы смутились оба.

– Приходи к четверем на борщ. Я ведь в Москву перевожусь, представь? Дядю реабилитировали, и квартиру вернули, буду к нему на лекции бегать, учиться в университете. До лета уже не увидимся. Вот так. И, наконец, по секрету. Я с Марией Андреевной разговаривала, исключение твое отменяют, завтра будет решение Рона, и во вторник возвращайся в школу. И даже редактором Стенгазеты остаешься. Ты у нас теперь всенародный любимец, не только отдельных... Ладно, ждем на обед...

3.

Прошло двадцать лет! С Алей мы не виделись ни летом ни зимой, потом я сам уехал в Питер учиться, потом завертела и меня новая взрослая жизнь.

В Питере апрель тоже бывает чудный, с необыкновенными запахами, струением воздуха и света и каким-то таким сдвигом всего бытия, когда головокружение мира начинается с утра и не кончается даже к ночи.

И вдруг в такой ясный апрельский день (а я, по счастью, был дома) раздался телефонный звонок.

– Вася, это ты?

– Да, я.

– А мы звоним с Невского, из автомата. В справочном дали твой телефон. Ты представь себе, я иду по Невскому, думаю о тебе, а навстречу Аля! Такая же, как была. И тоже, ты не поверишь, в этот момент о тебе думала. Она предлагает встретиться. Ты не против?

– Я встречу вас у метро через полчаса, приезжайте.

Они привезли с собой бутылку коньяку, с помощью Али я приготовил закуску, сели, налили рюмки.

– Ну, что, за встречу? – спросила Аля.

– А можно, я первый скажу? – попросил Артем. – Мне Аля сказала, чтобы я тебе смело звонил, что ты ничего, дескать, не помнишь из прежних детских обид, к тому же на твою долю выпали испытания, которые заслонили, как она думает, все прежнее. Мы ведь знали, что ты

сидел, и где ты сидел, и все, кто тебя знал, за тебя переживали. Видно, у тебя такая судьба, все время попадать в передраги.

А помнишь, в десятом классе тебя опять исключили, теперь уже за любовь? Даже не верится... Ты встречался с практиканткой...

– Конечно, помню.

– Я уже учился в институте, но тобою по-прежнему интересовался. Между прочим, я звонил в Роно, там у меня родственник, может быть, и мое заступничество тебе в тот раз помогло.

А еще я тогда вышел из комсомола, был большой скандал, меня исключили из института, не помогло даже заступничество родных.

Ну, ладно, постараюсь короче.

Так вот, короче говоря, язва прошла через мою душу, и до сих пор. Ты что-нибудь помнишь, что тогда было?

– Конечно помню! Я не такой хороший, как обо мне думает Аля. Царапины и во мне не зарастают. В тот год, когда я учился в седьмом классе, мы ведь с тобою жили в одной комнате в общежитии...

– Не знаю, простишь ты меня или нет, но я пришел попросить тебя прощения. Даже если ты меня не простишь, мне уже будет легче, я повинился.

– Дружище, я ждал тебя двадцать лет. Молодец, что ты пришел. Это самая счастливая минута в моей жизни! Если ты хочешь выпить за забвение, то я согласен. Представь себе, я часто переписываю свои стихи и рассказы, почему бы не переписать одну страничку из жизни?

– Нет, я ее переписывать не буду. Она меня учила жить. И я ей благодарен. А за то, что ты меня простил, спасибо!

Когда бутылка была выпита, Аля повела меня на кухню поговорить наедине.

– Нам уже пора убегать, через два часа поезд. Поэтому моя исповедь будет тоже недолгой. Помнишь наше знакомство? Тебе было одиннадцать лет, ты стоял возле кабинета директора и безутешно плакал.

– Меня не хотели брать в эту школу...

– А я была тринадцатилетней девочкой с большими глазами и розовым бантом. Мне тебя стало так жалко, что я решила, что буду тебя защищать. Как оказалось, в первую очередь от себя самой.

Через год моя сумасшедшая тетя, она работала в бухгалтерии машинисткой, начала на машинке перепечатывать твою детскую повесть, ни больше, ни меньше, как о войне. Я ее читала. И она даже произвела на меня впечатление. Потом один раз мы играли с тобою в спектакле, ты играл девочку, и мы должны были с тобою поцеловаться. Но мы оба смутились и целоваться не стали. Вот уже и юность почти вся прошла, не знаю, встретимся ли, а мы с тобою так и не поцеловались. Я тебя как-то не так любила, как надо, не как мальчишку, а скорее как ту девочку из спектакля... или того маленького плачущего мальчика, которого встретила в первый раз. Если бы ты знал, сколько раз я сама проплакала из-за тебя! Закрой глаза, я тебя поцелую. Так, как хочу!

4.

После этого прошло еще двадцать два года, я был без работы, в школе вакансий не было, научные учреждения закрылись, я продавал постельное белье, картошку, разгружал даже вагоны на товарной станции. И вдруг мне предложили поработать полтора месяца в школе, в группах учащихся, готовящихся и к выпускным экзаменам и к поступлению в вуз. Работа была ежедневной, по четыре часа подряд. Предполагались между уроками перерывы, но школьники не давали мне перерваться.

Однажды после уроков одна из учениц попросила меня задержаться и объяснить, почему ее решение не совпадает с ответом. Она взяла мел и написала на доске свои действия, держа тряпку в левой руке.

– Дай мне мел, я зачеркну лишние действия.

– Нет уж!

– Ну дай тогда тряпку! – и я начал отбирать тряпку. Невольно наши руки соприкасались, и вдруг мы оба замерли. Я словно бы поскользнулся и упал в ее сине-голубые с рыжинкой глаза. Поскользнулась и она.

Я попытался обратить все в шутку и сказал: – Вот в чем дело, я уже начинаю видеть сны наяву.

– А я их уже вижу давно! – ответила она. – *И звонит колокол. И оркестр играет Реквием Моцарта. И Весеннюю сонату Баха, которую я сочинила вместо него.*

Ни слова не говоря, я быстро собрался и пошел из класса, но на пороге обернулся.

Девочка помахала мне рукой и подняла выше голову, словно говоря, что она выше судьбы.

На следующий день после уроков я уже пошел домой, как на улице меня догнал какой-то мальчишка и попросил срочно вернуться в школу, якобы меня вызывают к директору.

Около школы, у небольшого садика с кустами черемухи и большой белой березой стояла она.

– Не спешите, никто Вас не ждет, кроме меня. А я улетаю в далекие страны... – она пропела последние слова. – Нет, правда, я улетаю завтра утром. В Аргентину. Надолго. И, возможно, мы больше не увидимся. Вот видите, ваша жизнь складывается по-прежнему трагически, а теперь еще и моя.

Я смотрел на нее недоумевающе.

– Я читала Ваш роман, так что почти все о Вас знаю. Я вымечтала вас еще до знакомства. Кстати, вот эта береза называется Исполнительницей желаний. Надо только взяться за руки и обойти вокруг нее три раза.

Пойдемте?

Как во сне, я повиновался

– Может быть, меня уже пора расстрелять?

– За что?

– За то, что я внушаю неправильный образ мыслей и чувств своим ученикам, а, возможно, и себе самому. Конечно, я просто сплю, а во сне человек не отдает себе отчет в том, сколько ему лет и кто он такой.

– Я тоже сплю, но все прекрасно сознаю и вижу. Передо мной мужчина неопределенного возраста, скорее старый, чем молодой, но улыбающийся, как будто ему шестнадцать лет. Сознайтесь, вы себя именно таким ощущаете?

– Да, верно...

– Ну, вот. К тому же, я вас воспринимаю как некий образ из сна.

Мы обошли вокруг березы один раз и тут она резко остановилась.

– Я умру. Поддержите меня, я теряю сознание...

Я взял ее сильно сначала за локоть, потом за талию и потом прижал к себе, чтобы она не упала.

– И на Страшном Суде я покажу, что Вы ни в чем не виноваты. Наступила эпоха безвременья, теперь после зимы сразу приходит лето, весны больше нет, и только Вы – *человек-весна*. Вы – апрель. Или май. В Вас, может быть, тоже все пороки, как и в других, как и в земле черт его знает что, и щепки, и кора, и камни, и перегной, и глина и песок. Но из земли растут цветы, а из Вас растет головокружение. И мне наплевать, сколько вам лет, пусть даже сто пятьдесят. Мне ведь хочется влюбиться, но не в кого. *Кроме Вас никого нет*. Это не значит, что Вы такой хороший, вы довольно плохой. Но другие еще хуже.

Я остановилась не потому, что мне жалко себя. Мне показалось, что если мы сделаем еще два круга, сбудутся все мои желания, а я не выдержу этого. У меня болит сердце, я изнемогаю, я не метафорически, а буквально умру. Я остановилась, потому что защищаю Вас, как сказала бы сестра моей бабушки тетя Аля. Что Вы будете делать с мертвой девочкой на руках? Или умирающей? Или еще живой, но готовящейся к смерти? Я знаю, что я не первая прыгнула с карусели, которая нас вертит в круговороте жизни, чтобы подойти к Вам. И я знаю, что Вы спуститесь за мной в пропасть, в которую я Вас поведу.

Но мы расстанемся. Давайте только на прощанье посмотрим друг другу в глаза, и сразу же уходите.

Она взяла меня за руку, приблизила лицо, так что наши губы почти соприкасались. Мы начали падать. Два чувства я испытывал одновременно. Безоговорочную необъяснимую катастрофическую любовь маленькой шестнадцатилетней девочки, губы которой почти не трепетали, но я словно бы слышал, что она кричит: **Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!**

И такую же разрушительную, как камни в землетрясении, мою собственную любовь, надземную и земную, или даже подземную!

Святую и порочную вместе. К ее взгляду, дыханию, словам, трепету губ. И к ее безгрешной еще плоти, которую мне хотелось сорвать как цветков и владеть им безраздельно.

Переселение душ?

Порабощение тел?

Или та райская чушь,

Которой человек не хотел?

Которой не хотели вдвоем...

А собственный нам не построить дом...

Цецен Балакаев

СИЛЬВИЯ



«Vanitas stilleven» (Натюрморт «Тщеславие», 1660)
N.L. Peschier, Рейксмузеум, Амстердам

Об авторе

Цецен Алексеевич Балакаев, г. Санкт-Петербург, Лауреат Всероссийской литературной премии им. А.К. Толстого. Сын Народного писателя Калмыкии Алексея Балакаева, спецпереселенца в 1944-1957 гг., ст. Чернореченская, впервые опубликовавшего в печати в возрасте 20-ти лет на «Литературной странице» газеты «Красноярский рабочий», в № 254, от 19 декабря 1948 года.

СИЛЬВИЯ

Оргон: А как Тартюф?
Дорина: Тартюф? Когда пускали кровь
(Ей, сударь, не ему), не двинул даже бровью.
Желая возместить ущерб её здоровью,
За завтраком хватил винца – стаканов пять.
Оргон: Бедняга!..
(Ж.-Б. Мольер, «Тартюф», пер. М. Донского)

I.

Воскресным летним днём я отправился в «Фестину», в одно из самых снобистских мест Голландии. Большинство амстердамцев не подозревает ни о существовании этого теннисного клуба, ни о его значимости в жизни знати и нуворишей.

Клуб был основан принцем Оранским, супругом великой княгини Анны Павловны и большим англоманом, полтора столетия назад, и с тех пор представители королевской династии возглавляют это возделенное, но закрытое для выскочек заведение. Количество его членов строго ограничено, и вступление новичков возможно лишь после естественной убыли кого-то из стариков. Потому чести стать членом клуба ждут, порою, десятилетиями, и на тот знаменательный день, когда велосипед вёз меня на его корты, очередников было около трёх сотен счастливых, занесённых в список будущих партнёров принцев и принцесс крови.

«Фестина» располагается в Фондельпарке, в самом сердце Амстердама. Я шёл туда по высокопоставленной рекомендации, поскольку изучал жизнь и новшества принца Оранского, как читателю уже известно – августейшего супруга русской принцессы Анны. Голландцы относились к нему без должного пиетета, смакуя разные мнимые и действительные шалости. Но меня интересовали его заслуги, а не забавы.

Было тепло, и просторные лужайки были усеяны загорающими, повсюду бегали детишки, мимо проносились велосипедисты. Громко треща, над головою пролетали большие стаи бразильских зелёных попугаев. Я следил за их полётом и невольно вспоминал старую историю. Четверть века назад я познакомился с восходящей скрипичной звездой Сильвией. Давно это было, Сильвия умерла, оставив о себе горькое чувство утраты. Я старался гнать прочь её образ, не подозревая, что через час-другой она возродится перед моими глазами во весь рост и вмиг станет мерилом добра и зла...

Я позвонил в ворота клуба. Меня ждали, и зелёные створки гостеприимно распахнулись. Было воскресное утро, и корты пустовали. Меня встретили две знатные болтушки из свиты голландского джинсового короля. Мне доводилось встречаться с ним, и я имел представление об его окружении. Он был гомосексуален, и девицы принимали его за своего, не имея от него тайн и преданно сопровождая везде, куда он направлял свои стопы. Дамы обошли со

мною весь клуб, ознакомили с трофеями и кубками, рассказали об истории почтенного заведения. Я постарался изучить там совершенно всё, вплоть до последнего гвоздика.

Подошло время ланча, и меня устроили на террасе с угощением «за счёт заведения», а болтушки, между тем, отправились размяться на корт. Я следил за ними, этими беззаботными красавицами-голландками, жившими без единой тени видимых забот. Всё давалось им легко и играючи, ибо они давно входили в свиту баснословно богатого короля текстиля.

Наконец болтушки вернулись, беспрерывно треща. Одну из них звали слегка забавно для моего слуха.

– Верочка, вы чуть-чуть русская? – спросил я.

– О, нет-нет, ни капельки! Просто как-то у нас в гостях был какой-то русский, он рассказывал истории, и моим родителям понравилось имя его дочери. Так меня и назвали. Так и записали моё полное имя: Верочка ван дер Бейк.

– А вы чувствуете какую-то связь с Россией? – пытал я её.

– Ну что вы! Я даже не знаю точно, где это находится. Слышала, что это огромная Тартария или Сибيريا, где всегда холодно и голодно, где волки и медведи. Вот Карлина знает всё о России. Она шпионка.

В тёмноволосой Карлине чувствовался скрытный характер, вполне подходящий шпионке. С обворожительной улыбкой она накачивала меня хайнекем вперемешку с мартелем, и сейчас это стало казаться подозрительным.

– Вы были в России? – спросил я её вполголоса.

– Да, я была у вас с тайной миссией. Я замужем за бостонским американцем и как-то имела бурный роман с морским офицером. Его послали в Москву. Морским атташе. И я потащилась за ним, – беззаботно прощбетала Карлина.

– А ваш муж?

– Где мой муж?

Карлина деланно завертела головой по сторонам, затем обе подружки захохотали.

– Рассекреть свои русские тайны, дорогая, – закричала Верочка.

– Это была тщательно спланированная операция, – завелась Карлина. – У меня была блестящая легенда. Я въехала в Союз куратором выставки Бостонского музея изящных искусств.

– Боже мой! Ты перетряхнула целый музей, чтобы воссоединиться с блондинчиком Фредом?

– Привезла не весь музей, а лишь дюжину скетчей Рембрандта. Затем я подарила русским ма... ма... Ах, не помню, что за «ма»!

– Матрёшку?

– Нет, дорогая, совсем не матрёшку... Как же... Макартич?

– Магарыч, – подсказал я.

– Вот-вот, магарич!

– Боже, что такое магарич?

– Бейлиз, хайнекен, тоблерон, печные таблетки с тюльпанами, оловянные ложки с мельницами... Ты сама знаешь, что туземцев надо одаривать сладкими и блестящими безделушками.

– Но зачем, Карлина?

– Затем, что русские были довольны и отпустили меня на все четыре стороны, сказав, что устроят выставку сами.

– Гениально! Виртуозно! И ты вошла на борт фрегата по парадному трапу? Вы с Фредом подняли паруса, и ветер понёс вас по морю любви! – захохотала Верочка.

– Ах, нет. Совсем нет, дорогая. Ведь в Москве нет моря. Море в Ленинграде. Мой Фред отправился туда на морской парад, а я последовала за ним в соседнем вагоне. У меня была изящная сумочка «Шанель» со встроенной шпионской камерой. Фред дал. Но на полпути меня сняли с поезда. Фред даже не заметил. Он подумал, что русские меня перевербовали.

– Боже, какая прелестная шпионская история! Я тебе завидую, Карлина! Ты Мата Хари!

– И меня депортировали, хоть и не нашли камеру. За нарушение пребывания в стране. Магарич не помог.

– А ты привезла шпионскую камеру? Что ты с нею делаешь?

– Наш джинсовый король забрал её. Иногда он тайком снимает нас, когда мы слишком шалим.

– Нас? Ему дозволено, он лапочка... Всё! Сейчас будет первая пара. Барон ван ден Браккс и этот выскочка... Забыла его имя, – объявила Верочка.

– Да, он выскочка, и называй его господином Альфонсом, – заворила ей Карлина.

Первая пара вышла на корт. Барон был моложавым джентльменом семидесяти лет. Он уверенно двигался по корту, и его противнику, моих лет, было не просто сдерживать аристократический напор. Смотреть за ними было увлекательно. Большая стая попугаев села в кустах изгороди, начав тропический концерт. Мои дамы беспрестанно тараторили, и их оживлённая беседа слилась в один ряд, в котором я не различал, кто из них что говорит:

– Этот Альфонс раздражает меня своей самоуверенностью... Да, он нахал, но сногшибательно красив. Держится настоящим принцем... В том-то дело, что он просил подхода к принцессе... Ты что, как посмела?.. Нет, я отправила его к Хендрике... Та даст ему поворот... Но сперва воспользуется... Он сам воспользуется ею, и она глазом не моргнёт...

Эта светская беседа лилась в унисон крикам стаи попугаев и стуку мяча. И вдруг, когда эта какофония стала единым звуковым потоком, управляемым полётом теннисного мяча, в фигуре младшего игрока всё явственнее стали проступать знакомые, давно виденные черты.

– Как зовут Альфонса? – спросил я, впрочем, и без болтушек уже точно зная имя.

– Карлина, дорогая, сходи и посмотри имя в журнале, – попросила Верочка.

– Не ходите. Я знаю. Его зовут Эрик, – я остановил их.

– Откуда ты это знаешь? Ведь он только приехал из Лимбурга и здесь новичок, – уставилась на меня Верочка.

– Он уже не новичок, дорогая, – заспорил Карлина. – Вот увидишь, он запряжёт Хендрику. Она сама жаждет отдать ему всё, что имеет.

– Боюсь, что да, – резюмировала Верочка. – Наконец-то джентльмены закончили партию.

– Джентльмены, поднимайтесь к нам! – закричала Карлина.

Барон, помахав рукой, скрылся из вида, а Эрик, высокий, стройный, с ослепительной улыбкой, легко взбежал по ступенькам и элегантно упал в предложенное кресло.

– Вы новичок? – сразу же спросил он меня.

– Я гость.

– О, вот как? А с кем вы? Ведь гость может прийти лишь в сопровождении действительного члена клуба, – заинтересовался Эрик.

– Он здесь по желанию нашего благородного друга, – протараторила Верочка.

– Он изучает жизнь и деяния его высочества наследного принца Оранского, – не упустила случая вставить словечко Карлина.

– Вы русский. Только русские интересуются великими деяниями нашего принца, а не его проделками.

– Да, я русский, дорогой Эрик, и ты должен помнить меня.

– Я? Вас? Извините, но не помню.

– А Сильвию?

– Здесь произнесено женское имя? Мы её знаем? – затрещала Верочка.

– Посторонних дам вы обязаны обсуждать в другом месте, джентльмены, – заявила Карлина.

– Но потом сами всё расскажете нам! Обещайте, джентльмены, – встала Верочка.

– Кажется, наш гость собирается похоронить безупречную репутацию всеми уважаемого кандидата в члены клуба, – веселилась Карлина.

– Честное слово, джентльмены, мы ждём скандала, – поддакнула Верочка. – Начинайте же, мы ждём!

– Может лучше встретиться в другом месте? – Эрик взял себя в руки. – Скажите, какой ресторан вам удобен, и я буду ждать вас в семь вечера.

– Вечером я иду в театр, – ответил я.

– Прекрасно, давно не был в театре и с удовольствием составлю компанию. Я возьму билеты в ложу.

– В таком случае, вечером в семь в городском театре, в Стадшоубурге, – назначил я встречу.

– Что же там дают? Может, и мы пойдём... Мы с радостью составим вам компанию, – дружно обрадовались подружки.

– Сегодня будет «Тартюф» Мольера.

– Фи, какая скука! Там будут только пенсионеры, – расстроилась Верочка.

– Идите сами, а завтра нам расскажете, – встала Карлина.

– Особенно о скандалах, не забудьте, – завершила Верочка.

Мои милые сопровождающие дамы позволили нам с Эриком встретиться с глазу на глаз. Мы раскланялись, и под треск зелёных попугаев я отбыл домой, чиститься, гладиться и скрестись перед посещением любимого Мольера, нечастого гостя на голландских подмостках.

II.

Моё знакомство с Сильвией началось именно с Мольера в августе 89 года. Тогда в антракте «Тартюфа» в МХАТе в Камергерском ко мне подошла пожилая пара.

– Вы едете в Голландию? – без предисловий спросила дама.

Я вздрогнул от предчувствия необыкновенного.

– Да, сударыня, собираюсь отбыть через две недели, на три месяца до конца ноября, – ответил я.

– Вы не удивляйтесь моему вопросу. Москва такая маленькая, что все мы знаем друг о друге. Мы преподаём в консерватории, у нас есть общие знакомые, и мы хотели бы попросить вас о небольшом одолжении.

Тут прозвенел звонок, и мы разошлись, уговорившись встретиться по окончании спектакля. Играл, злодейски священнодействовал великолепный Любшин, заставляя зал до изнеможения стонать от смеха. То был любимый, знакомый с детства мир театра, далёкий от повседневного бытия, мир интриг и заговоров, благородства и злодеяний, высоких чувств и грехопадений. Добродетель у Мольера торжествует, и потому – тем более в МХАТе – на его спектаклях меня никогда не покидало предвкушение финального разоблачения обманщика. Этот мир существует лишь в театре, и потому мы вновь и вновь стремимся под его кров. Всё было, как обычно – прекрасные актёры, великолепная постановка и даже маленький оркестр, придававший представлению особый, старомодный шарм.

Мольер закончился привычными бисированием и честованием славного актёрского ансамбля, и затем с новыми знакомыми я прошёл по Тверской. Ещё в театре, сразу после знакомства, я догадывался, что, поскольку пара консерваторская и интересуется Голландией, то речь пойдёт о пианисте-беглеце Юрии Егорове, обосновавшемся в Амстердаме и умершем там год назад.

Отчасти, так и случилось. Старики близко знали виртуоза, победителя конкурса Чайковского, по годам его учёбы в стенах «консы» и, насколько было возможно в то время, внимательно следили за его зарубежной карьерой, радуясь каждому самому маленькому известию о своём ученике, но не позволяя себе высказываться вслух. Для многих Егоров был богом, новым мессией, и там, за границей, на чужбине, умер молодым, в расцвете сил, от неизвестной нам болезни, которой в скором времени дадут название СПИД. А через полгода после его смерти границы нашей страны раскрылись миру, и мои новые знакомые сразу же поехали в Амстердам, чтобы посетить захоронение ученика.

Всё это мы обсуждали, неспешно поднимаясь по Тверской. Когда я упомянул о концерте Егорова с голландской скрипачкой, тоже финалисткой

конкурса Чайковского, записанным голландским телевидением незадолго до смерти пианиста, то старики остановились и вскричали, перебивая друг друга:

– О, то был концерт с Эми! С Эми!.. Ведь мы очень хорошо её знали. Эх, какая была бы пара... И мы не могли покинуть Голландию, не побывав на её концерте, и потому, увидев её имя на афише, поехали в Утрехт, это далеко, за 30 километров от Амстердама. А входные были столь дороги, что нам оставалось лишь наблюдать за счастливчиками, неспешным потоком вливавшихся в концертный зал. И вдруг...

– Нет, Толя, подожди, расскажу-ка лучше я, – прервала мужа дама. – Вы только представьте себе. Из дверей выпархивает очаровательнейшее создание в длинном чёрном концертном платье с двумя билетами в руках. Моё сердце ёкнуло, и я бросилась к красавице, вцепившись ей в руку и крича дурным голосом: «Ай эм фром Москау! Консерватория Москау! Ойстрах! Рихтер! Коган! Третьякофф!»

– Боже, ты напугала её до смерти великими именами, – язвительно произнёс супруг.

– Видимо, да, – отозвалась дама довольным тоном. – Мои вопли произвели должное впечатление. Девушка замерла и уставилась на меня, словно поражённая, а затем схватила нас за руки и потащила в вожделенное нутро зала. «Пойдём! Быстро! Это хорошо!», приговаривала она по-русски.

– А я закричал, чтобы она сразу знала о нашей финансовой несостоятельности: «Мадам, но мани! Но ма-ни... Денег нет!», – весело добавил мой новый знакомый. – «Деньги не нада! Не нада... Идём быстро... Я была в консерватория. Скрипка. Коган. Великий человек... Третиаккофф! Великий человек... В прошлый год. Москва красивая. Идём...»

– Мы слушали Эми из третьего ряда и оба плакали, – продолжала дама. – Она исполняла Мендельсона, как когда-то играла в консерватории, когда Ойстрах целовал ей руки, представляя москвичам. Только вот не было нашего Юрочки...

– Не забудь упомянуть о Сильвии, – вмешался супруг.

– Сильвия! Наш юный ангел-спаситель тоже играла, и не в оркестре, а соло – вы ведь, конечно же, знаете сонату фа-минор с сольными адажио и кодой? Так вот, эта девочка отыграла так, что у зала остановилось дыхание.

– Да, это была серьёзная голландская скрипичная школа. Вы ведь слышали голландцев? Кого? – с вдохновением спросил меня Анатолий Георгиевич.

Я признался, что из голландских скрипачей знал лишь Эми, поскольку та выступала у нас, записывалась и даже промелькнула на голубом экране с Ойстрахом, и за три коротких визита в Голландию четыре раза был на её концертах. Она по-особому воспринималась мною, не только блестяще вышколенной исполнительницей, но и некоей современной секс-звездой – очень бойкой рыжей, веснушчатой длинноногой девицей, самозабвенно отдающей своему миру прекрасной музыки.

– Вот-вот, тем более. Тем более вам понравится Сильвия! – вскричала дама. – Ведь даже Эми пресная рыба в сравнении с красоткой Сильвией. Ах, как она играла...

– Суть дела в том, и в этом заключается наша просьба, что с тех пор хотим, но никак не можем послать Сильвии небольшой скромный подарочек. Самую малость, чуть-чуть. И вы нас очень обяжете, если возьмёте с собою что-то для неё. Мы очень любим Сильвию, и даже уважаем, несмотря на разницу в возрасте.

– Чуть-чуть, – снова прервала супруга дама. – Маленькую иконку. Не Рублёва, разумеется, а дешёвую...

– Из храма всех святых, что на Соколе, – вклинился её муж.

– Вы же знаете церковку на Соколе? – продолжила дама. – Она ничего не стоит, а Сильвии будет приятно. Ей так нравится всё русское...

Через две недели я улетел в Амстердам с маленьким образком Казанской богородицы для восходящей голландской звезды Сильвии де Ноорд. Кем она была и какие на неё возлагались надежды, я уже знал. Но, поскольку встреча с нею не была главной задачей, а я был поглощён собственными делами, то встретился с юной скрипачкой лишь за неделю до отбытия, во второй половине ноября.

То были прекрасные солнечные дни поздней голландской осени, тёплые, безветренные, полные золота тихо опавшей листвы. Я мчался на поезде в Утрехт на вечерний концерт Сильвии в зале Тиволи. Мимо проносились ухоженные, чистые поля, разделённые аккуратными канавами на правильные, одинаковые участки, игрушечные мельницы, пасущиеся чёрно-белые коровы, словом всё то, что радует и восхищает глаз каждого путешественника, попавшего в эту маленькую уютную страну. Счастливы должны быть люди, живущие здесь, своим трудом создающие этот уют и благоденствие, думалось мне. Мне вспоминался Пётр, завёзший к нам голландские порядки и табак, наши казаки, спасшие эти низменные земли от затопления отступающими французами. И потому, а также предстоящее знакомство, наполняли меня безмятежным покоем.

Сильвия превзошла мыслимые ожидания. Высокая тонкая блондинка, очень привлекательная, живая и по-детски искренняя, играла Мендельсона на Страдивариусе. Зал был полон каким-то чудесным светом, исходящим от каждого её движения, от каждого взмаха смычка. Всё вокруг переливалось поющими, ликующими звуками. Дирижёр ловко скакал кузнечиком на маленькой трибуне, рискуя свалиться в зал, затем замирал, останавливая оркестр, и тыкал палочкой в Сильвию. Плечи её оживали, старинный Страдивариус описывал стремительный полукруг, и волшебная музыка волной обрушивалась в зал. За скрипичным концертом, в первом отделении, последовали «Гебриды», и затем дважды на бис высоко, виртуозно и призывно-торжественно прозвучал сольный марш Мендельсона.

Концерт завершился и, по договорённости с Сильвией, я отправился в её уборную. Она распахнула дверь с самым восторженным выражением лица.

– Вы из Москва? – вскричала она. – Ваш подарок из Москва?

Я вручил ей образок.

– О, боже! Красота! Как её зовут? Кто она? – спросила Сильвия.

– Это иконка Казанской богородицы, покровительницы вся святой Руси.

Дверь открылась, и в уборную вошёл высокий, очень привлекательный молодой человек во фраке и с белыми лайковыми перчатками в руках. Он выглядел денди.

– Эрик, кайк! Хет бент Казаан Махд! – восторженно закричала Сильвия. Затем, немного смутившись, представила вошедшего. – Это Эрик, мой бой-френд...

После некоторой паузы, видимо вспомнив, как говорят в России, она поправилась:

– Он мой друг. Кажется, он жених. Я для него играла марш Мендельсона. Но он ничего не понял.

Однако Эрик опустился на одно колено и торжественно извлёк из-за пазухи золотую бархатную коробочку.

– Дорогая, обожаемая Сильвия. Прошу тебя осчастливить меня. Окажи мне честь выйти за меня замуж. Наш гость из Москвы свидетель моих чувств к тебе.

Сильвия схватила иконку, поцеловала её и бросилась в объятия Эрика. Я невольно стал свидетелем их счастья. Затем мы вышли с Эриком на свежий воздух и, дождавшись Сильвию, отправились праздновать в старое кафе у собора святого Мартина, самого почитаемого святого в Утрехте, где просидели до трёх ночи, пока нас не выставили за дверь. Молодая пара ни за что не хотела отпускать меня, и мы отправились к отцу Сильвии, который, по её словам, должен быть рад принять нас в столь поздний час.

Отец её, королевский географ, жил в отшельническом уединении в маленьком, но уютном домике среди заповедного леса в Буннике, в географическом центре Голландии. До самого утра мы сидели, укутавшись в пледы, у костра, беседуя об истории страны, об окружающих местах, о том, как голландцы терпеливо и настойчиво создали эту землю, пядь за пядью отвоевав её у моря.

С восходом солнца Сильвия с Эриком уехали, оставив меня, ибо теперь её гостеприимный отец ни за что на свете не был согласен расстаться со мною, не ознакомив со всеми прелестями местного быта. Весь день нас посещали гости, это были разные люди, но все живо интересовались моей родиной. «Перестройка» и «Горбачов» не сходили с их уст, и то были живой интерес и участие к нам, к освобождённым советским людям.

Тот день остался в памяти приятным воспоминанием. Над головами, громко крича, летали большие зелёные попугаи, давно завезённые из Бразилии. Экзотические птицы приносили ощущение необычности и неизведанности. О, этот чудный мир, открывшийся новой гранью. Всю дорогу до Амстердама в моём сердце билась и металась волшебная скрипка Сильвии.

III.

В последующие годы я периодически наезжал в Голландию и следил за стремительной карьерой Сильвии, изредка бывая на её концертах и ещё реже – встречаясь с нею. В последний раз мне довелось увидеть её на сцене амстердамского Концертхебау, где она замечательно исполнила Стравинского с нашим дирижёром Кириллом Кондрашиным.

Примечательным то посещение было и тем, что концерт я смотрел в обществе бабки Сильвии, старомодной 95-летней дамы. После концерта Сильвия живо интересовалась, как играют Стравинского в России, и играют ли вообще, поскольку раньше его замалчивали. А бабушку волновал лишь один животрепещущий и важный вопрос: почему, будучи помолвленной уже пять лет, её внучка до сих пор не замужем? Вопрос был неприятен Сильвии. Она отмахивалась и отговаривалась тем, что Эрик занят, что пока у него не идёт дело, но всё уже устраивается, и в следующем году он намерен купить большой дом между Амстердамом и Утрехтом, где они устроят студию для записи музыки.

– Доживу ли я, моя дорогая, до радостного мига, когда увижу правнуков? – гнула своё бабушка.

– Этого ты дождешься, если проживёшь до 125 лет, – отрезала Сильвия. – Сначала мне следует сделать карьеру. Я должна завоевать весь мир...

Слова её не казались мне похвалой, ведь Сильвия была воистину замечательной.

Следующие несколько лет я не был в Голландии, и отправиться туда я смог лишь летом 98 года. Уезжая, я зашёл к Анатолию Георгиевичу, овдовевшему, сильно сдавшему и потрепанному пост-перестроечными бурями. Он снова вручил мне Казанскую богоматерь, в этот раз большую золочённую икону, попросив найти возможность провезти её и вручить Сильвии.

С трудом удалось мне вывезти икону. Таможенному служащему с рыбьим взглядом я долго безуспешно объяснял, что дорогая икона моя личная собственность, что вывожу её для своих личных нужд, что без неё я никуда не отправляюсь, что она всегда со мною, и днём, и ночью. Поначалу моя горячая речь перешла в усталый безнадежный бубнёж, и, наконец, ему первому надоело, и он благословил меня на выезд, вписав в мою декларацию вывоз одного предмета искусства с обязательным обратным ввозом.

К разочарованию, я не смог найти следов Сильвии. Её телефоны молчали, а наведение справок и изучение музыкальной прессы не дали результатов. Пробыв две недели, я оставил икону на хранение доверенному лицу. В Шереметьево мне пришлось соврать, что декларация то ли утеряна, то ли украдена, и на том дело закончилось.

Сразу по возвращению случился очередной кризис, который не пережил Анатолий Георгиевич. И через год, снова вылетая в Амстердам, я дал себе слово найти Сильвию, чего бы то ни стоило. Я должен оставить дела, разыскать её и отдать икону, как последнюю волю старого консерваторского профессора. Но тщетно я пытался найти какой-либо след скрипачки, её отца

или кого-то знавшего её. Наверное, она вышла замуж, сменила имя и уехала в Америку, либо в Японию, Китай, Австралию, Бразилию или бог весть куда, иногда думал я, пока, наконец, мне не выпал счастливый случай.

Как-то раз я был на очередном светском приёме, на «высоком чае», где Эми представляла благородному обществу свою скрипичную школу. Улучшив момент, я подошёл к ней, но на вопрос о Сильвии она ответила глухим молчанием. Я не отставал, но Эми продолжала отнекиваться.

– Сильвия? Я ничего не знаю о ней. Нет-нет, я не знаю, не спрашивай.

В конце приёма я снова подошёл в ней.

– Эми, мне важно найти Сильвию. Помогите, чем можете. Я прошу не для себя, я ищу не по своей прихоти. Мне обязательно надо передать подарок от её друзей. Они умерли. Я дал зарок найти Сильвию и отдать подарок, как их последнюю волю.

– Хорошо, я попробую что-нибудь сделать, – сжалилась она, и на том мы расстались.

Эми сдержала слово, и через три дня я получил короткое сообщение с номером телефона. Я тут же позвонил. Трубку подняли, но, не отвечая, напряжённо молчали в ожидании моего представления.

– Худемиддах, – поприветствовал я. – Мне нужна мифрау Сильвия де Ноорд. Я прибыл из Москвы, из России, и мне нужно с нею встретиться.

Ответом мне было напряжённое молчание.

– Вы извините, пожалуйста, но прошу вас помочь мне найти мифрау Сильвию. Это очень важно.

Наконец, после некоторого молчания, старый слабый, дребезжащий женский голос переспросил:

– Зачем она тебе?

– Мне надо передать ей подарок из Москвы.

– Кто ты? – спросил голос после долгого молчания.

Моя собеседница показалась мне очень старой, слабой и плохо слышавшей дамой, потому я был предельно терпелив. Я снова представился и повторил всё сначала. После некоторого молчания она спросила:

– Что за подарок?

– Это икона. Это дорогая икона из Москвы. Икона из церкви, в которой была Сильвия. Икона это освящённое изображение русских святых. Сильвия очень любила русские иконы.

– Как её зовут?..

– Икона Казанской богородицы, покровительницы России.

– Казаан Махд?

Вдруг в этом старом, тусклом голосе проблеснуло что-то знакомое, что-то далёкое, но явно мною слышанное.

– Сильвия, дорогая Сильвия, это я! Ты вспомни меня. Где ты живёшь? Я сейчас же приеду.

Мне показалось, что собеседница всхлинула. Затем, снова помолчав, она спросила:

– Когда можешь приехать?

– Сейчас! Сейчас же! Ты только скажи, куда! – закричал я.

– Сейчас не надо. Приезжай завтра в десять утра. Запиши адрес.

К удивлению, указанный дом был в двухстах метрах, и мне знаком тем, что на первом этаже находилось отделение полиции, куда меня несколько раз таскали для выяснения личности в рамках голландской борьбы с исламским терроризмом.

Утром я отправился к Сильвии, с иконой, большой коробкой шоколада и белыми розами, которые она так любила. Полицейский двор кишел муравейником, там собирались на очередную антитеррористическую операцию, из-за чего мне пришлось вернуться, пересечь канал и подойти к дому с другой стороны. Это заняло полчаса, и в половину одиннадцатого я позвонил в нужный домофон.

– Входи. Поднимись на второй этаж. Дверь в квартиру открыта, – приветствовал меня знакомый старушечий голос.

Я поднялся и вошёл в обычную тесную городскую квартиру с низкими потолками и драным линолеумом на полу. В нос ударил резкий запах лекарств.

– Проходи сюда, сразу налево.

Дверь налево открыла передо мною жалкую полупустую комнату, единственным украшением которой были две скрипки на голой стене. Скрипки висели над большой кроватью, на которой на высоких подушках лежала очень толстая, оплывшая женщина с потухшими глазами и редкими бесцветными волосами. Боже, неужели это Сильвия?

То была она, ибо одну из скрипок я без сомнения признал. Страдивариус.

Женщина молчала. Она бесстрастно смотрела на меня, ожидая моих слов.

– Сильвия, это ты! Я знаю, это ты. Но что, и как, и почему? Что случилось?

Хозяйка по-прежнему молчала, не проявляя чувств.

– Посмотри на это. Из-за этой иконы я искал тебя. Анатолий Георгиевич умер. Это его последний подарок в память о Егорове, Эми и тебе. Анатолий Георгиевич с женой были чудесными людьми и много, часто рассказывали всем, абсолютно всем о том, как однажды выехали за границу, в первый раз, без денег, ради Егорова, и как они, старые заслуженные профессора музыки, не могли попасть на концерт, и как ты, молодая девочка, провела их в зал, как затем, после концерта, нашла их и отвезла в Амстердам. Они всегда говорили, что это был лучший миг их жизни – незнакомый, ничем не обязанный им человек исполнил то, что они не могли сделать сами. Потому я привёз тебе эту позолоченную икону. Поверь, это было непросто.

Я положил икону ей на грудь. Сильвия тихо заплакала. Долго, целых полчаса я сидел, держа её за руку. Наконец, переборов себя, она еле слышно произнесла:

– Казаан Махд...

– Скажи, что случилось?

– Ты помнишь, мы с Эриком собирались жениться?.. – сбиваясь, зашептала Сильвия. – Он нашёл красивый дом, и мы поехали посмотреть

его... Мы были счастливы в тот день, всё нам нравилось. Поздно вечером мы отправились назад... Наверное, он слишком много выпил. Мы попали в аварию и убили двух человек...

– Боже мой! А Эрик, где он?

– Он умер. Его нет. Я пять лет одна.

– А отец? Где твой отец? Почему ты здесь, а не с ним?

– Он умер. У него были большие долги. Всё продали...

Заметив мой невольный взгляд, она добавила:

– Страдивариус тоже продали. Это муляж, мне сделали копию Страдивариуса. Всё продали... Ничего нет. Я лежу здесь одна... Три раза в день приходит ленивая сиделка, чтобы покормить меня. Раз в неделю делают уборку...

– А бабушка?

– Она умерла. Все умерли...

– А друзья? Вчера я видел Эми. Почему же она не приходит, ведь вы были очень близки?

– Друзья приходили, и мы плакали. Ведь так трудно представить... Я была молода, полна сил. Вся жизнь была впереди. Счастье впереди. Успех, любовь, семья, дети... И вдруг, в один миг, всему конец. Все умирают. Сразу. В один миг...

Сильвия снова начала плакать. Не став ждать, когда она успокоится, я начал делать уборку – вымыл до блеска окна, впустив в комнату солнечный свет, проветрил квартиру, выскоблил кухню. Сильвия смолкла и тихо, покорно следила за мной.

– Где же подруги, Сильвия? Почему ты заброшена?

– Я запретила им приходить. Запретила звонить. Запретила писать... Каждый раз, видя их, я чувствовала себя ещё несчастней. Каждый раз, видя их, мне хотелось умереть... Я каждый раз проклинала себя за то, что умер Эрик, а я жива... Жива такая – беспомощная, безнадежная. Я стала толстой, словно бочка. Я сама себе противна...

Помолчав, она выдохнула:

– Я бы не пустила и тебя. Но ты сказал, что привёз эту икону, и я не устояла. Твоя страна мне понравилась, и я даже хотела остаться в России. Я боролась с собою. Я знала точно, что оставшись в Москве, буду свободна и счастлива, но бедной, без денег... Какие деньги в России? Всё там так прекрасно, что душа готова была плакать от этой красоты. И всё там бедно, бедно так, что сердце разрывалось от беспомощности... И меня уговорили. Здесь меня ждали успех, признание, известность, слава. Впереди были концерты, гастролы, записи. Я не устояла, я вернулась домой, хоть Эми говорила, что это ошибка, что она также боролась с собою. Она просила меня не повторять её ошибки...

Слёзы ручьями лились из её глаз. Она выглядела ужасно. Всё во мне содрогалось при виде Сильвии. Но не от чувства неприязни к ней, к её отталкивающему виду, а от того, что я помнил, как прекрасна она была и как талантлива. Да, мир для неё перевернулся сразу, и безвозвратно. Прекрасная

Сильвия, восхищавшая тысячи людей, желанная многими, лежит передо мною совершенно беспомощная, бесформенная, бесчувственная.

– Я буду приходить каждый день. Я пишу книгу о музыке. Здесь поставлю стол и буду работать. Скажем, с десяти утра и до вечера.

– Нет! Не надо! Это убьёт меня. Я не могу видеть тебя. Я не могу видеть кого бы то ни было. Я живу среди мёртвых.

– Но ведь должна ты, Сильвия, кого-то видеть, с кем-то разговаривать, кроме своей ленивой сиделки.

– Вот кнопка вызова полиции. Это аларм. Когда не вмоготу, я вызываю полицию. Они сразу приходят. Рассказывают свои новости. Об убийцах, проститутках, ворах, наркоманах. Вчера принесли цветы. Конфискат. Этого достаточно.

– Сильвия, ну о чём ты говоришь? Какой конфискат? Какие убийства?

– Ты со мною будешь говорить о музыке. О Чайковском, о Мендельсоне, о Бетховене. Я этого не желаю. Пусть полицейские рассказывают об убийцах. Меня это успокаивает. Я их сейчас вызову, и ты тоже послушаешь.

Она нажала на кнопку. За окном замигал красный огонёк, и сразу же раздался голоса и топот ног.

– Это Сильвия!.. Быстрее...

Через минуту в комнату ввалилась пара полицейских офицеров – парень и девушка. Увидев меня, они вмиг наставили на меня пистолеты, но разобравшись, без малейшей тени раздражения оставили нас.

– Полиция! Спасибо за помощь Сильвии! Возьмите коробку конфет! – прокричал я вслед.

– О нет, нет! Спасибо! У нас есть конфискат!..

– Ты тоже уходи, – глухо произнесла Сильвия. – Скоро будет сиделка. Время ланча. Больше не приходи. Забудь меня. Спасибо за икону. Она будет очень дорога мне. Прощай.

Попрощавшись, я вышел из комнаты. В моей голове был хаос. Ужас положения Сильвии медленно охватывал каждую мою клеточку. Я остановился в прихожей, чтобы перевести дух.

– Вернись! Вернись! Убей её!..

В замешательстве я вбежал в комнату.

– Сильвия, что с тобою? О чём ты?

– Муха! Смотри, в окно залетела муха! Ты не закрыл окно. Мухи терроризируют меня. Они садятся на лицо, и я не могу согнать их. Это проклятие.

Большая мохнатая чёрная муха не спеша кружилась над Сильвией, привлечённая запахом лекарств. Я смахнул её ладонью, и она забилась, зажужжала в сжатом кулаке.

– О боже! Раз, и муха поймана. А моя сиделка часами бежит за ней и всё переворачивает. Убей её!

Убить муху я не мог. Я выпустил её за окно и защёлкнул раму, тем снова перекрыв приток свежего воздуха.

– Мухи здесь потому, что из-за полицейского шума в округе нет ни попугаев, ни других птиц, – сказал я.

– Боже! Зелёные попугаи! Целую вечность не видела их...

Сильвия горько, в голос разрыдалась. Я видел, я чувствовал, что в этот миг она ненавидела меня. Поцеловав в лоб, я оставил её одну.

IV.

О, Мольер, чьё имя при жизни было проклинаемо. Тот, который был предан анафеме, оболган и позорно похоронен в неизвестном месте. Судьба твоя, жизнь истинного творца, была полна самых неожиданных и трагичных сюжетных поворотов. Тебя боялись, как огня, боялись потому, что под личиной безбожника-комедианта ты всегда излагал истину. Правду. Ту правду, которая остаётся правдой всегда, через века, вечно.

Правду? Я вспоминал всё, связанное с Сильвией. Что была она мне, чем, кем? Она давно умерла, и люди постарались забыть о ней, чтобы не было поводов укорять себя за то, что в невыносимо тяжёлые дни жизненной катастрофы, в часы одиночества и боли, оставили её одну. А ведь как начиналась её жизнь, какие были надежды...

В этот день неожиданно, неожиданно-негаданно всё сошлось в единый логический ряд. И даже джинсовый король выглянул из суфлёрской будки, из которой он дёргал за верёвочки, передвигая марионеток на сцене своего кукольного театра.

Когда-то я чурался его, изнеженного и утончённого с головы до ног, но со временем стал относить спокойно ко всем его причудам.

Тому поспособствовали две причины. Во-первых, в маленькой деревушке, имеющей счастье стать прибежищем его большого загородного дома, он главный налогоплательщик и благотворитель. По воскресеньям и в течение ежегодной ярмарки он заказывает оркестр бравых пожарников, с утра до полуночи наяривающих маршевую музыку, столь любимую в провинции.

– Вы любите его из подобоострастия. Потому что он неприлично богатый, – подначил раз я местного трактирщика.

– Ну что ты, что ты! – вскричал тот. – Ты видишь эту ярмарку и толпы туристов, роющиеся в старых вещах? Весь этот антиквариат стоит один евро, и это привлекает тысячи людей. Ты знаешь, почему цена лишь один евро? Потому что наш благодетель доплачивает нам от четырёх до десяти евро за каждую проданную вещь. Он никогда не проверяет правильность счётов, и потому мы его не обманываем. Мы уважаем друг друга. За одну ярмарочную неделю я зарабатываю больше, чем за остальной год.

Помимо этого, как-то раз случайно я оказался возле амстердамского дома короля, не зная о том. Я присел отдохнуть на набережную, опустив ноги в канал, и вдруг увидел приметный антикварный серебристый «Мерседес», стоявший неподалёку. Через некоторое время появился сам король и обошёл автомобиль, попинав колёса. Затем он скрылся и вывел из сарая велосипед, открыл багажник и втиснул в него двуногого друга. Он сел в кабину и попробовал завести «Мерседес». Тот не заводился. И тогда король откинул

капот и покопался под ним, а затем полез под кузов. И торчащие из-под старенького автомобиля ступни джинсового короля как-то смирили меня с его причудами. Бог с ним, подумал я, у всех могут быть свои слабости...

Но была ещё одна сторона моего отношения к нему. Я вспомнил, как на одном из раутов король отозвал меня в сторону.

– Ты хочешь стать богатым и успешным в Голландии и жить в своё удовольствие? – спросил он.

– О чём вы? Вы же знаете, что я человек нормальный.

– Не о том я спрашиваю, – продолжил король. – Ты ведь знаешь русских музыкантов. Ведь тебе доступны русские базы, у тебя много знакомств по всей стране. Давай вместе откроем миру новые имена. Пусть на небосклоне мировой фортепианной музыки вспыхнут яркие звёзды. Ты ни о чём не пожалеешь. Ты будешь жить, как король, как я, и ты сможешь позволить себе любые причуды. Тебе нужно лишь одно – найти молодого талантливого, перспективного пианиста и убедить его перебраться в Голландию. Всё остальное я возьму на себя. Ты никогда не пожалеешь об этом.

– Молодых пианистов или пианисток?

– Разве женщины способны к фортепианной музыке? Назови хоть одну русскую пианистку, чьё имя не померкнет рядом с Рихтером!

– Нет, для меня это невозможно, – ответил я. – Ведь я знаю, что именно вы переписывались с Егоровым, встретили его в Италии и перевезли сюда.

– Да, я сделал его звездой, – спокойно ответил король.

– Он был звездой задолго до эмиграции. И даже до того, как выиграл Чайковского.

– Я сделал его всемирно известным. Я дал ему деньги. Я записал его музыку. Я был возле него день и ночь. Со мною Юрий стал счастливым.

– Нет, вы убили его.

– А что тебе до него? Юрий сам выбрал свою судьбу. Он выбрал свободу, и у нас, в Голландии, он стал свободным.

– Это неправда. Бежав из СССР, Егоров стал несвободен. Он нашёл здесь свой конец. Что мне до него? То, что Егоров учился в моей стране, в лучшей в мире школе с лучшими в мире педагогами. Где выросла сосна, там она красна...

Сейчас я вспоминал тот разговор. Капелька за капелькой, камешек за камешком, узелок за узелком раскрывалась передо мной цепь закономерных случайностей. Люди умирают, погибают, уходят по каким-то объяснимым причинам, а при пристальном рассмотрении открывается иная, неприглядная картина. Большие таланты и необыкновенные личности теряются по чьей-то прихоти, будучи не в состоянии противиться циничному, холодному расчёту...

Эрик ждал меня в кафе «Станиславский» при входе в Стадсшоубург. Одет он был словно с иголки. Он мог бы быть моделью любого модного агентства – высокий, стройный, с открытым лицом, обрамлённым светлыми выщипанными волосами. Но лицо его сейчас не было спокойным, в нём чувствовалось напряжение.

– Заказать выпивку? – спросил он.

– Водку. И выпьем молча.

Нам принесли по крошечному стаканчику. Я плеснул содержимое своего напёрстка в рот и попросил принести человеческую порцию.

– Что значит человеческую? – спросила официантка.

– Он русский, – пояснил Эрик, морщась от своего напёрстка.

Официантка пожала плечами и принесла две стопки по сто грамм.

– Я пас, – отказался Эрик. – Боюсь, что упаду или засну. Выпивка не идёт мне в пользу

Я молча опрокинул обе стопки, и мы встали из-за стола.

Места, купленные Эриком, были не ложей, а каким-то отделённым от зрительного зала полукруглым беломраморным пространством, выступающим из стены и обрамлённым помпезным мраморным же парапетом. Возможно, то было место для каких-то торжественных ваз, или пальм, или герольдов, или трубачей. Как бы то ни было, когда погас свет, наша «ложа» оказалась в луче прожектора. Мы торжественно восседали над головами партера, и актёры, ясно и чётко видевшие нас, поневоле обращались к нам со своими пламенными речами.

Этот Мольер был осовременен, и Тартюф был примечательным красавцем – не неопрятным старым ханжой, как принято у нас, а утончённым, прекрасно воспитанным денди в синем шёлковом фраке. Он был убийственно эффектен.

Мы же, тем временем, вели неторопливый диалог.

– Ты помнишь Сильвию, ты помнишь меня, Эрик, – тихо начал я. – Пятнадцать лет мелькнуло, как день...

– Для меня то были не годы, а века...

– Появилось столько новых имён, но ни одной скрипачки, как Сильвия...

Разве что Янина, но в Сильвии было столько страсти, чувства, живости...

– Ненавижу скрипку... Ненавижу музыку... Всё ненавижу!..

– Я считал тебя погибшим...

Эрик молчал.

Зачем я пригласил его? Не для суда и не для казни. Там, в «Фестине», когда он увидел меня, вся его спесь мигом слетела. Или это не я его, а он пригласил меня? Мне показалась, что он хотел высказаться. Оправдаться? Наверное, нет. Наверное, все эти годы он держал в себе то, что не мог открыть никому. Просто высказаться. Пусть говорит. Милую Сильвию не вернётся.

– Ты знал, что случилось с Сильвией?

– Да, знал. Перелом позвоночника и полный паралич. Я испугался. Я потерял голову. Я позорно бежал... Я скрылся в Лимбурге, просидев там, словно крыса в норе, целых десять лет. Я знаю, что мне нет прощения, – он отвечал с волнением, прерывающимся голосом.

– Ты знал, что погибли люди?

– Я узнал это через несколько дней. Я считал, что всё кончено для меня. Я просто спрятался. Я словно бы скрылся, замкнулся в другом мире...

– Сильвии пришлось выплатить всё. У неё ничего не осталось. У неё забрали Страдивариуса. И, ты знаешь, до самого последнего дня, до самой последней минуты, она казнила себя за то, что ты, как ей казалось, погиб, а она осталась жива.

Эрик молчал. Ему нечего было ответить.

Между тем, со сцены к нам протягивал руки Тартюф, примеряющий свою очередную маску:

– Верь, брат мой! Я злодей, бесстыдный и лукавый

Виновник всяких зол, источник всяких бед.

Такого грешника ещё не видел свет...

– Боже! О чём он?

Эрик обхватил руками голову, стараясь укрыться от слов и жгучего, безумного взгляда Тартюфа. Некоторое время он сидел, раскачиваясь, словно бы размышляя, затем, словно во сне, еле слышно произнёс:

– Мы мчались в ночи по узкой дороге вдоль речки Ангстел, был туман. Она сказала, что любит меня, и всегда будет любить, что бы ни случилось. И поцеловала меня... И в этот момент мы столкнулись со встречным авто и вылетели в реку... Там узкая речка, метров двадцать в ширину и два в глубину... Мы вылетели в неё и воткнулись капотом в дно... Я словно бы отключился. Не помню, как и почему бежал...

Тут, перебив Эрика, громко взвыл Тартюф:

– О, пусть он говорит, и верьте вы ему!..

Мы вздрогнули. Эрик покрылся мертвенной бледностью.

– Что он сказал? – чуть слышно переспросил он.

– Я услышал голос Мольера, – ответил я. – В момент, когда его тело бросали в общую могилу.

На сцене Тартюф рвал в клочья свой шёлковый фрак. Он смотрел прямо на нас, буравя своим, казалось, изрыгающим огонь взором:

– На деле, может быть, первейший я злодей?..

– Нет, я больше не могу! Извините.

Эрик, с грохотом опрокинув стул, выбежал из ложи. Актёры и зал уставились на меня, сиявшего в свете прожектора словно святым явлением. Оргон смешался и, позабыв порядок роли, тряс за плечи зашедшегося в дьявольском смехе Тартюфа:

– Мой драгоценный брат!..

Ну, бессердечный лжец,

Ты не раскаялся?

Молчать!.. Мерзавец!..

Спектакль скомкался и пошёл по кривой наклонной. В зале засмеялись, засвистели и затопали. Я поспешил выйти, опустив за собою тяжёлую портьеру необыкновенной ложи, в которой стал невольным соучастником мольеровой драмы.

V.

Выйдя из Стадсшоубурга, я заглянул в «Станиславский», чтобы хлопнуть ещё сто грамм. На террасе кафе сидели Верочка и Карлина, потягивая вино и негромко промывая косточки прохожим.

– Как рад вас видеть! – воскликнул я, стараясь изобразить неподдельную радость. – Вы опоздали на спектакль?

– Мы? На Мольера? – возмутилась Верочка. – О чём ты?

– Лучше расскажи, как нашёл нашего героя, – заговорщицки подмигнув, выдохнула Карлина.

– Он был вызывающе хорош. В сверкающем голубом фраке.

– Как? Неужели в голубом? Слушай, Карлина, пожалуй, принцесса не устоит...

– Пожалуй, да... Ах, как изобретателен наш Альфонс!

– Позвольте, я вовсе не об Эрике. Это Тартюф был в голубом.

– Противный Тартюф? Не может быть!

– А под фраком было белоснежное шёлковое бельё. Ведь он раздевался.

– Верочка, какие же мы дуры. Мы много потеряли, нам следовало пойти...

– Почему же ты не предупредил, что ожидается эпатаж?

– Извините, но я не знал. Я рассчитывал увидеть Мольера, а не цирк.

– Нет, вы, русские, не понимаете сути театра...

– Признаться, что ожидал увидеть Тартюфа в пыльном мятом сюртуке, – рассмеялась Карлина.

– Да. Я так соскучился по Мольеру и рассчитывал на хорошую актёрскую игру.

– Ты безнадежно отстал от жизни. Хорошая актёрская игра не наполнит кассу.

– Да уж, что и говорить. Сегодня невиданный аншлаг, и Эрик с трудом смог взять какие-то места, прилепленные к стене, словно птичье гнездо.

– Вот видишь, Карлина! Бьюсь об заклад, что Тартюф гомосексуалист или наркоман! – закричала Верочка.

– Тартюф?..

– Нет, дорогой, я имею в виду актёра. Ведь иначе у Мольера не будет успеха.

– Извините, но какое отношение это имеет к Тартюфу?

– К Тартюфу никакого. Но к успеху постановки – да. Всегда нужна какая-то перчинка, или театр банкрот.

Карлина встала и медленно обошла столик, сгорбившись и прихрамывая.

– У вас в Москве, конечно же, скучный старый академизм. Ни ярких красок, ни чертовщины, – поддела она меня.

– Боже, как я хохотала, когда у нас выступал английский мальчишка! – вскричала Верочка. – Ты помнишь, Карлина, того анфан террибля классической скрипки! Он был очень мил. Вспомни, ведь мы смотрели всей компанией, а затем король поил его клико. Этот парень с пурпурным хохолком выхлестал весь ящик.

Я промолчал о том, что тоже пил клико с тем скрипачом...

Я жил в двух шагах от Концертхебау, что было удобно – всегда был в курсе музыкальных событий, а в перерыве концерта успевал зайти домой, чтобы выпить чашку кофе и проверить почту. Прошлым летом, ранним утром, мне позвонил концертмейстер Мариинского театра. Звонок из России был дорогим, и потому я встревожился.

– Что стряслось? Что у вас? Неужели наконец-то сняли Валерия Абисаловича?..

– Не у нас, а у вас мировое событие, – ответил он. – Вечером играет Найджел Кеннеди. Ты слышал о нём?

– Да, о нём много говорят. Всё обклеено его портретами. Парень выглядит столь странно, что я зажмуриваю глаза, проходя мимо афиш.

– Он бог. Он мой кумир. Ему всё можно. Прошу тебя, сходи и возьми для меня его автограф.

– Как я получу автограф? Самый дешёвый входной на него стоит восемьдесят пять евро.

– Будь другом, сходи и попроси автограф! Придумай, как его найти! Сочтёмся!..

Я пошёл в кассу зала. Билетов не было – все давно и сразу расхватили. Потому, купив редкий компакт Кеннеди, за полчаса до концерта я подошёл к чёрному входу. Как всегда, мне повезло – там я столкнулся с Марисом Янсонсом. Заметив меня, он приветливо помахал рукой.

– Вы ждёте меня?

– Нет, маэстро. Меня попросили взять автограф у Кеннеди.

– Ну так заходим. Пора занимать места.

– Входного нет! Мне позвонили сегодня утром. В кассе давно шаром покати.

– Пойдём-пойдём. Ничего страшного. Нас ждёт праздник.

Янсонс провёл меня в зал, где передал в руки пожилой консьержки, заботливо усадившей меня в третьем ряду партера. Едва я устроился, как мне на колени упала белая роза. Я поднял голову. С балкона мне махали старые дамы, завсегдатаи Концертхебау.

– Ты тоже здесь? – кричали они. – Хорошее место!.. Для важных гостей!.. В антракте поднимись в кафе!..

Эти дамы на концерте были признаком высокого уровня гастролёра. Раз в неделю они поочерёдно устраивали у себя музыкальные салоны, которые я изредка посещал. Потому я помахал им цветком и обратил внимание на сцену, на которой появился Янсонс.

– Дамы и господа, добрый вечер, – обратился он к залу. – Я не буду представлять нашего гостя, потому что он выступал в этом зале и хорошо известен и любим и вами, и всем миром. Хочу лишь отметить, что Найджел решил предложить вашему вниманию редко исполняемую программу – собранные вместе камерные произведения Джордже Энеску, Золтана Кодая и Белы Бартока, чрезвычайно непростые для исполнения, но живо раскрывающие причудливый славянский колорит...

Партер встретил Кеннеди напряжённым, но доброжелательным молчанием, а галёрка одобрительным гулом, хлопками и вскрикиваниями.

Вид мировой звезды контрастировал с элегантным костюмом Янсона и строгим облачением оркестрантов. Опухшее лицо с многодневной щетиной, серьга в ухе и вызывающий ирокез на макушке, чёрная кожаная рокерская куртка со свисающими сверкающими цепями, чёрные перчатки без пальцев, зелёные камуфляжные штаны и грубые армейские ботинки – всё выдавало в нём дерзкого панка, плюющего на правила и приличия хорошего тона. Но внешность, вызывающая грубость и топорность движений гостя растворились, позабылись, лишь только он приник к скрипке. В зале раздавались невольные возгласы.

– Уникум... Бог... Невероятный...

Глаза музыканта были закрыты, лицо было бесстрастным, но скрипка говорила, журчала и вздыхала – не о том, что переживал сейчас исполнитель, но она словно жила своей отдельной, особой неземной жизнью. Эта скрипка захватила и убаюкала зал, и сердца бились в унисон.

На второе отделение Найджел вышел с красным лицом и чуть пошатываясь. Было заметно, что он приложился к некоему сосуду, но теперь зал встретил его с одобрительным гулом, а оркестр терпеливо стоял на ногах, дружно постукивая смычками в ожидании, когда необыкновенный гость будет готов продолжить колдовство. И оно последовало. Румынские и венгерские напевы тёплыми струями вливались в кровь холодных голландцев, оживляя новые, неведомые чувства...

Когда концерт закончился, то я не стал ждать окончания шквала оваций, а выбрался в холл, через который выходили музыканты. Шумно обсуждая выступление, оркестранты расходились по домам. Некоторые из них были мне знакомы, и, завидев меня, они показывали большой палец, выражая свой восторг. Прошёл маэстро Янсонс, все уже ушли, а я всё ждал.

Наконец, появился расхристанный Найджел, в куртке нараспашку, со скрипкой в одной руке и початой бутылкой шампанского в другой. Пурпурный ирокез делал его похожим на задиристого петуха, а грохочущими по паркету башмаками он напоминал неуклюжего слона.

– Найджел, спасибо за чудеснейший концерт. Вы не могли бы сделать одолжение, написав автограф?

Он поставил на пол скрипичный кофр и бутылку, и я передал ему ручку и раскрытый буклет компактa.

– Как тебя зовут? – спросил скрипач.

– Это не мне, а моему другу. Он музыкант и ваш фанат. Подпишите Александру.

– Музыкант? Что он играет? Рок?

– Нет, он скрипка в Мариинском оркестре. Концертмейстер.

– В Мариинском? Что это за оркестр?

– В Киров-балете.

– А, это у маэстро Гергиева! Значит ты из Санкт-Петербурга?

– Нет, это друг из Санкт-Петербурга, а я из Москвы.

– Из Москвы? А какой там лучший концертный зал?

– Зал консерватории.

– Чайковского? Я люблю Чайковского.

– Нет, зал Чайковского это городской, для больших концертов. А музыканты любят консерваторию. Там старая сцена, настоящая, на ней тёплый и живой звук.

– Отлично. Я приеду и выступлю, если меня ждут фанаты.

Он расписался и затем стал листать буклетик компактa.

– Что за релиз? Никогда такого не видел.

– Это японский бутлег. Сами знаете, какие японцы ненормальные. Вы там бог. Оформлено в безумном азиатском стиле. И я специально раскрыл на страничке в «Таис».

– С нею я взял все призы. Красота. Шик! «Таис» и иероглифы! Подари мне диск.

– Пожалуйста, берите диск, а буклет нет. Он подписан, и я отвезу его другу.

– Нет-нет, тогда не стоит, спасибо. Без буклета диск не будет иметь цены.

Из кармана куртки Найджел достал и с шумом откупорил бутылку шампанского, облив обоих шипучей пеной.

– Хлебнём клико за японцев и твоего друга из Гергиев-оркестра! – он сунул мне бутылку и поднял с пола свою.

Мы отхлебнули, и я закашлялся от ударившего в нос газа. В этот миг в холл вбежала встревоженная молодая дамочка.

– Найджел, где ты ходишь? Я полчаса бегая по Концертхебау в поисках тебя!..

– Жду тебя здесь, дорогая... Это моя подруга и агент, – представил её Кеннеди.

– Ты снова пьёшь! А ведь утром мы летим в Бухарест!..

– Я не лечу в Бухарест. Мы сейчас мчимся в аэропорт и летим в Москву.

– В Москву? Боже мой! Как это – в Москву? И с кем ты летишь?

– Ты, я и мой новый друг. Он говорит, что меня ждут фанаты.

– Но ведь у нас контракт! Тебя ждут на телевидении в Бухаресте. У нас съёмка. Мы не можем лететь в Москву!..

Подруга начала оттирать меня от своего подопечного, и я понимал её, все трудности жизни с капризной звездой, витающей в космических скрипичных высях.

– Найджел, она права. Отправляйтесь в отель и отдохните, а я заеду утром, и мы отправимся в Схипхол.

– Послушай, что сказал твой друг. Идём в отель. В Москву утром, не сейчас.

– Хорошо. Идём в отель. Но сначала я сыграю «Таис»...

Найджел поставил на пол бутылку и начал распаковывать скрипку.

– Бог мой, Найджел! Ты перебудишь округу! – взмолилась подруга. – Сейчас опять сбежится тысячная толпа!..

– Мы соберём мелочь на самолёт в оба конца, – не обращал на неё внимания скрипач.

– Найджел, она права. Уже поздно для «Таис». Ведь люди сбегутся и затем не смогут спать. Вы идите в отель, а я приду утром и послушаю.

- Хорошо, друг. В номере стоит «Стейнвей». Ты играешь на рояле?
- Только «Три весёлых гуся», но остальное смогу на чём-нибудь пробарабанить.
- Ногтем я отбил «Гусей» по стеклу бутылки, и Найджел весело хмыкнул.
- Знаю этот мотивчик. Утром мы устроим концерт...
- Мы расстались лучшими друзьями.

Тогда я не пошёл домой, а сел на траву лицом к Концертхебау посреди большого Музейного поля. Старое строгое здание сияло и переливалось в свете уличного освещения. С фасада на меня смотрел большой портрет Найджела – с дерзко и непокорно вздыбленным ирокезом, но чистым и ясным лицом.

Я отхлёбывал из горлышка клико и вспоминал, как когда-то здесь играла Сильвия, и точно так же фасад был украшен её портретом под яркой хлесткой шапкой «Звезда грядущего времени!». То был рецитал французской школы, и начала Сильвия с «Таис» и «Поэмы» Шоссона, а во втором отделении исполнила бельгийцев Вьетана, Изаи и Корто. Так же, как сегодня, у слушателей невольно выступали слёзы и так же в зале слышались невольные возгласы:

– Уникум... Божество... Невероятная...

Точно так же её прекрасные глаза были закрыты, лицо бесстрастно, но Страдивариус говорил, журчал и вздыхал – не о том, что переживала Сильвия, но старинный инструмент словно бы жил своей, неземной жизнью, и сердца вокруг бились в едином ритме... Начав с «Таис», ею же Сильвия закончила концерт – этого просил и требовал зал, не желавший расходиться, не услышав ещё раз волшебство смычка.

За моей спиной на другом конце тёмного поля разливался разноцветной ночной иллюминацией Рейксмузеум, только что открывшийся после десятилетней реставрации. В долгожданный день толпы туристов хлынули в зал Рембрандта, а я, пересилив желание присоединиться к ним, отправился бродить по другим залам старых мастеров Золотого века, ища небольшой натюрморт «Тщеславие», открытый мне бабкой Сильвии.

Пятнадцать лет назад перед концертом Сильвии мы договорились с бабкой встретиться в музее.

– Прекрасный случай ещё раз увидеть «Ночной дозор», – заметил я на входе.

– Если не возражаете, молодой человек, то мы посмотрим иную картину, оставив Рембрандта на следующий раз, – ответила она. – Ведь он от вас не уйдёт, а для меня есть более волнующие сюжеты...

– Проведите нас к «Тщеславию», – обратилась она к служащей.

Девушка в униформе, взглянув на мою строгую спутницу, облачённую в старомодное длинное в пол чёрное платье с белым брантским кружевным воротничком-пелериной, не осмелилась просто указать направление к нужному залу, как приняла в музеях, а провела нас к небольшой картине в затемнённом углу дальнего зала.

– В каком году написана работа? – спросил я.

– В углу картины указан 1660 год, – ответила служащая.

– А в какие годы жил художник?

– Один момент. Я уточню.

Служащая отошла к висящему на стене у входа в зал интерфону.

Небольшой натюрморт был работы художника, помеченного как Н.Л. Пескьер – имя собственное его осталось скрытым временем. Это был «ванитас», напоминающий о краткосрочности и тщетности бытия, со старинной скрипкой, раскрытым нотным клавиром и толстым фолиантом в кожаном переплётё, со смятым письмом, перемотанным шёлковой лентой с печатью, чернильницей с пером, песочными часами, освещёнными тлеющей масляной лампой. Центром композиции был череп, а уголок червовой карты раскрывал тайну сюжета, виною которому была любовь.

– К сожалению, о самом художнике нет точных данных, – наконец подошла к нам служащая. – Он родился во французском Ардеше, скорее всего в 1660 году, и занимался живописью в Амстердаме и Лейдене, оставив несколько натюрмортов «ванитас», подписанных и датированных 1659, 1660 и 1661 годами. Самым поразительным элементом его работ является неизвестный состав краски, предотвращающий изменение цвета предметов, избранных художником для передачи скоротечности жизни...

– Обратите внимание на скрипку, молодой человек, – заметила моя спутница. – Она старинная итальянская, до Страдивариуса. Именно для такого инструмента писал музыку Свейлинка. Ведь вы знаете Свейлинка?

– Концертами Свейлинка развлекали царя Петра в его первый приезд.

– То была неспешная музыка, беседа с небесами.

– И в игре Сильвии чувствуется неземное, словно разговор с иным миром.

– Это иная музыка, молодой человек. А тогда музыкант говорил с богом.

Над Концертхебау ярко сияли звёзды. Одна из них была Сильвией, звездой грядущего времени...

VI.

– А где же наш друг? – вернул меня на землю голос Верочки.

– Тартюф?

– Нет, совсем не Тартюф, а наш общий друг.

– Эрик? Ему стало плохо, и он ушёл. Кажется, ему не понравились ужимки и крики.

– Скажите, пожалуйста, какой он чувствительный. А ведь Эрик совсем не ты, – подмигнула мне Карлина.

– Что значит, он не как я?

– Скажи, почему ты до сих пор не женат?

– Я? У меня есть подруга.

– Состоятельная?

– Наверное. Но точно не знаю.

– Верочка, ты посмотри на него. Он не знает!

– Она художник.

– А, богема! – засмеялась Верочка. – Ну тогда не стоит выяснять её доходы...

– Она дочь академика искусств...
– Вот как? Тогда почему не женишься?
– Но зачем? Нам и так хорошо.
– Карлина, ты полюбуйся на него!.. Он не понимает. Ты должен сейчас же идти к ней и поселиться в лучшей комнате. Скажи, что отныне живёшь здесь.
– Вы шутите. Мне это не нужно.
– Вот потому ты не он, – резюмировала Карлина. – Бедняжка.
– Увы, таким уродился, – не сдавался я.
– Но каков наш Эрик! Дорогая, представь его в небесно-голубом фраке.
– Пожалуй, я не устояла бы... Он был бы в сто раз шикарнее блондинчика Фреда.

– И отдала бы всё, что есть?
– Пожалуй, да... Ах, но зато как ты будешь завидовать мне, – смеялась Карлина.

Я слушал щебет этих милых болтушек, временами вставляя словечко-другое. Мы угостились фисташковым мороженым, и затем я начал собираться.

– Приходи в «Фестину», не забывай нас, – обняла меня Верочка. – Мы научим тебя жить...

– Мы поставим тебя в пару с Эриком. Пусть он загоняет тебя на корте и вразумит, что делать с дочкой академика, – похлопала меня по плечу Карлина.

– Кстати, кто такая... – начала было Верочка, но подруга перебила её.
– Вот-вот, я подумала о том же. Нам не даёт покоя вопрос – кто такая Сильвия?

– Сильвия? То был простенький любительский спектакль, в котором Эрик исполнял главную роль. Я случайно видел его. Давно, лет пятнадцать назад.

– И конечно же, он был влюблён в Сильвию? – спросила Верочка.

– Герой или Эрик?

– Оба! – отрезала Карлина.

– То была инсценировка, вернее, попытка инсценировки романтической повести де Нерваля, где герой разрывается между актрисой Адриенной и пастушкой Сильвией.

– И, естественно, женится на актриске.

– Совсем нет. Адриенна умерла в монастыре.

– Карлина, ты что-нибудь поняла? Что за бред? Неужели пастушка отравила актрису? Но ведь это сложная интрига. Как она попала за кулисы?

– Это не бред и не интрига, а искусство. Искусство ради искусства. Повесть живёт в нескольких измерениях. В реальности, в прошлом и в искусстве. А как чудно она начинается! Послушайте:

«Я вышел из театра, где каждый вечер появлялся в ложе на авансцене, как и приличествует истинному воздыхателю. Порою зал был битком набит, порою почти пуст. Но меня ничуть не трогало, сидит ли в партере лишь горсточка деланно оживлённых любителей, а в ложах красуются только чепцы да вышедшие из моды платья, или кругом теснится взволнованная, воодушевленная толпа, и все ярусы блистают цветистыми туалетами,

драгоценными камнями, счастливыми лицами. Впрочем, зрелище на подмостках задевало меня не больше, пока во второй или третьей сцене какого-нибудь тогдашнего скучнейшего шедевра не появлялась та, чьи черты были мне так знакомы, и не озаряла пустыню, не вселяла жизнь в эти бесплотные до тех пор тени единым своим вздохом, единым взглядом»...

Верочка покрутила пальцем у виска.

– Это роль Эрика? – спросила Карлина.

– Да, так он начал.

– Каков красавчик! По нему ведь этого не скажешь, – вставила Верочка. –

О чём ты будешь говорить с ним, Карлина?

– Не волнуйся, о чём-нибудь поболтаю. Меня больше волнует, что случилось с Сильвией. Они поженились?

– С Сильвией? Она умерла, – невольно вырвалось у меня.

– Это уже интересно. Верочка, поищи книгу.

– А в повести есть что-то этакое?

– Что значит этакое?

– Ну... Какая-то перчинка.

– Я не знаю. Нерваль был одним из зачинателей литературного эротизма.

– Ах, вот как! – радостно в голос воскликнули подружки.

– Но я ничего этакое не нашёл...

– Мы это найдём! – заключила Верочка.

– Как зовут автора? – уточнила Карлина.

– Жерар де Нерваль. Французский классик. Повесть «Сильвия». Недостижимый эталон поэтической прозы. Искусство ради искусства.

Я попрощался и вышел на площадь, где вдохнул полной грудью. Террасы кафе были полны народом, тут и там кучками тусовалась молодёжь, повсюду сновали толпы туристов, освещая вспышками побитые временем примечательности. Чуть потолкавшись, я пересёк площадь и прошёл в Фондельпарке. По дорожкам бежали молодые и пожилые амстердамцы, отдавая дань новой моде на здоровый образ жизни. Ни единый лучик света не пробивался сквозь высокую ограду из «Фестины». Члены клуба были сейчас на раутах, встречах и концертах. Над головой в темноте трещали попугаи, но я не гнал прочь воспоминания давних дней.

Жизнь шла своим чередом. Имя Сильвии де Ноорд кануло в лету, афиши Концертхебау пестрели плакатами с Яниной Янсен, а ей в спину дышало совсем юное новое голландское чудо Ноа Вильдехют.

В утренних известиях короткой строкой прошла новость о том, что дорогой спортивный автомобиль на огромной скорости не вписался в поворот и упал в речку Ангстел. Я знаю то место – там остановилась жизнь Сильвии.

23 ноября 2018 года - 20 января 2020 года. г. Санкт-Петербург

УБИЙСТВО ДУХА ГОРОДА

Убийство физическое тяжкое преступление. Что с точки зрения Закона, что с точки зрения Религии. Наказание за его совершение сурово. Однако по отбытии этого наказания и при действенном раскаянии у человека остаётся шанс вернуться и в круг общества, и в лоно церкви. Иное дело с Духом. Даже не убийство, а хула на Духа святого по церковным канонам есть грех смертный и неискупимый. Дух – это нематериальная метафизическая сущность всякого живущего в этом вещном мире субъекта, обеспечивающая ему жизнь. Утратившее присутствие Духа тело умирает. Утратившее Дух общество разлагается на бессвязные сегменты. Лишённый Духа народ исчезает с исторической сцены. Потерявший Дух город превращается в неодушевлённые каменные джунгли. Совершенно очевидно, что Дух должен быть сосредоточен в каких-то зримых объектах как своих носителях. Любые мировые религии свидетельствуют о таковых применительно к значимым для своих Духовных систем объектам.

Ровно то же самое можно говорить и о такой категории, как Дух Города. Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград как мало какой другой город осеён Духом, сосредоточенным в немногочисленных важных точках своего пространства, которые широкая публика, далёкая от религиозного или метафизического толкования бытия, называет просто «визитными карточками города на Неве». На протяжении двух последних столетий своего существования наш город свято берёт эти точки, охраняя от любых посягательств на их внешний вид, внутреннее содержание и взаимодействие между собой. Просто потому, что таковое посягательство равносильно посягательству на Дух города, который петербуржцы ощущают непосредственно и каждодневно, даже не задумываясь об этом.

Крушение государственности в 1991-1993 годах повлекло за собой не только утрату значительной частью общества и его элиты имперского ощущения, но и потерю ориентации в местах сосредоточения Духа. Как на уровне страны в целом, так и на уровне регионов и городов. Именно поэтому за 30 без малого последних лет стали так стремительно утрачиваться важнейшие архитектурные ансамбли, культурные ценности в музеях и театрах, обесцениваться литературные памятники и исчезать из поля постоянного спроса музыкальные шедевры и великое кино.

Представьте себе Петербург без Эрмитажа и Русского Музея, с парком аттракционов на месте Дворцовой площади, с которой исчезла Александрийская колонна, без Медного всадника и с перестроенным и перекрашенным Исаакиевским Собором, со снесённой колоннадой Казанского Собора и паркингом на месте площади Искусств. Представили? Ужаснулись? Скажете, что не может быть такого! И ошибётесь. Может! И не только может, а шаг за шагом примерно к тому всё и идёт. Москва в своей алчной погоне за комфортом, прибыльностью своих бизнес-проектов и привлекательностью своей логистики уже перестала быть той Первопрестольной, которую воспевали Лермонтов и Чайковский, Толстой и Свиридов. Исчезли уютные дворики вокруг Арбата, тихие замоскворецкие улочки, патриархальные усадьбы и особняки. Самый Кремль, это пульсирующее сердце русской государственности, оказался зажат со всех сторон сияющими огнями бетонно-стеклянных громад настолько, что даже судорожная попытка мэрии разрядить их гнетущее давление разбивкой Парка Зарядье мало спасает положение. Из всемирного списка городов-памятников Юнеско Москва давно выпала и не вернётся в него уже никогда. И Петербург, наш мистический и величавый город-музей, самый северный мегаполис мира, впечатавший в гранитную память свою следы имперского величия, в этом саморазрушении стремительно догоняет первопрестольную.

Небесная Линия Петербурга. Это рукотворное чудо, осенённое гением Петра Великого и Екатерины Великой, воплощённое в документе под названием Высотный Регламент, и воспетое Пушкиным и Достоевским, было одним из тех мест, в котором сосредоточился Дух великого города. Она была нерушима вплоть до конца 90-х годов прошлого века. Согласно Регламента все здания вдоль Невы должны были располагаться не по вертикали, а по горизонтали, подчёркивая державное течение уникальной реки и понуждая устремлять взор поверх крыш к суровому северному небу, в которое дозволено было возносить устремлённые ввысь шпили только трёх доминант – Собора Петропавловской крепости как точки отсчёта города, Адмиралтейства как геометрического центра северной столицы и Смольного Собора как границы исторической части города в последней излучине Невы. Так была создана гармония горного и дольного, формирующая особый склад людей, помещённых в это пространство. Ныне этой Линии не существует. Напирающие сзади на исторические здания вдоль реки тучные громады Гостилицы «Санкт-Петербург», бизнес-центра на Охте, высоток на Васильевском острове

убили Дух в этом месте. Слава Богу, горожанам удалось отстоять Петербург от окончательного убийства всей городской целостности путём возведения пресловутого Охта-центра по инициативе прежнего губернатора В. И. Матвиенко. Но башня эта, в простонародье величаемая Башней Саурана, переименованная из Охта-центра в Лахта-центр, всё же воткнута в полтора десятках километров от первоначально отводимого ей места, и даже там существенно уродует перспективу, поскольку при своей амбициозной 400-метровой высоте видна почти с любой точки города.

К счастью, в Питере часто пасмурно и туманно, как будто небесная влага стыдливо драпирует этот новодел, периодически являя нам утраченную перспективу Небесной Линии – ну, хотя бы и в сильно попорченном виде.

Пустынный берег. Ещё одной петербургской особенностью было отсутствие морского фасада. Путешествующим морем город открывался не сразу, а словно медленно вырастал «из топи блат», стыдливо пряча свои красоты. Идея сделать привлекательной и комфортной для круизных туристов зону прибытия на Васильевском острове возникла ещё в конце 70-х годов прошлого века. Но то, как в итоге она оказалась реализованной – с эстакадами и вантовыми мостами Западного Скоростного Диаметра, с циклопическим сооружением Газпром-арены на месте прятавшегося в зелени парков советского стадиона, с целыми каскадами фешенебельных высоток, выросших на песке намывных территорий – вряд ли кому тогда могло прийти в голову. Спору нет, получилось ярко, с размахом, комфортно в смысле логистики. Только к городу Гоголя и Римского-Корсакова отношения не имеет. В этом месте Дух города Санкт-Петербурга был вытеснен другим. Быть может, Нью-Йорка. Быть может, Гамбурга. Этакий «средне-западный» мегаполис без своей индивидуальности.

Горделивая стрела Московского проспекта, воплотившая в стиле Сталинского классицизма последний яркий всплеск имперского духа, также хранила в своём архитектурном решении присутствие Духа города. Все здания единого ансамбля длиной в несколько километров объединяла общая высота, над которой возвышалась доминантная точка Площади Победы. Выходя на эту мощную духоподъёмную прямую, хотелось подтянуться, поднять голову и расправить плечи. «Человек – это звучит гордо», как сказал советский классик М. Горький, и глядящим вдаль от Обводного канала в сторону Пулково эти золотые слова часто приходили в голову. Бесконтрольное строительство мансардных этажей и надстроек разного уровня вдоль

проспекта и возведение в последние годы новых высотных комплексов, возвышающихся над зданиями 40-50-х годов у них из-за спины, уничтожило Дух Московского проспекта, и он превратился всего лишь в одну из транспортных артерий, вдобавок постоянно страдающую от перегруженности.

Ведущееся активное строительство на огромном пространстве между Суворовским проспектом, улицей Некрасова и Таврическим садом, начатое с тотального сноса всех зданий этой огромной части исторического центра, скорей всего приведёт к убийству Духа и этого места, связанного с именами Суворова и Скобелева, Бултерова и Крестовского, Некрасова и Добролюбова.

Но, пожалуй, самая кровоточащая рана на месте продолжающегося убийства Духа города, это ансамбль Театральной площади и Никольского собора. Правильнее сказать, место, где когда-то был ансамбль. Когда амбициозный создатель «театральной империи», заручившись прямой поддержкой Первого Лица государства, начал возводить на месте шедевра советского конструктивизма Дворца Культуры имени Первой Пятилетки, безжалостно уничтожив его, пресловутую Вторую Сцену Мариинского Театра, уже было ясно, что, с точки зрения архитектурного облика, что бы ни было предложено, будет хуже прежнего. К счастью, самый нелепый проект был отвергнут. Однако и тот, который в итоге оказался воплощён, не просто кричаще кичлив, но и прямо убийственен. Шедевр зодчего Карла Росси Мариинский театр величественно стоял на просторной площади напротив не менее величественного здания первой русской Консерватории, и выезжая к нему со стороны улицы Глинки, каждый невольно вздрагивал и глубоко вздыхал от внезапно открывающейся за поворотом перспективы. Оказалось, достаточно поставить за классически строгим зданием пост-модернистскую «стеклобетонку», превышающую шедевр на полтора этажа и сияющую гирляндами нелепых огней, словно это гипер-маркет или цирк, и перспектива исчезает. Мало этого. Полтора века можно было созерцать одну из самых прекрасных панорам в мире, открывающуюся за театром и вошедшую в учебники по архитектуре – вид на колокольню Никольского Собора по прямой линии Крюкова Канала со стороны Новой Голландии, а если посмотреть с другой стороны, вид на Новую Голландию со стороны колокольни Собора. Теперь этот вид перекрыт уродливой, но зато технически целесообразной прямоугольной кишкой закрытого моста-перехода над каналом из одной «Мариинки» в другую.

Два последних года площадь выглядит как «промзона». Почти всё пространство перегорожено заграждениями, за которыми возвышаются временные строительные сооружения. Идёт сложное строительство новой станции метро, ради чего снесено 4 исторических здания, образовывавших ансамбль Театральной, в том числе здание прославленной Консерватории имени Римского-Корсакова. На снос последней, представленный общественности как необходимый ей капитальный ремонт, выделено и освоено 5 миллиардов рублей. Имущество и бесценные фонды вместе с коллективом и студентами переехали в спешно приспособленные для них казармы бывшего военного училища по соседству. И хотя утверждалось, что всё тщательно подготовлено для вселения консерватории в новое здание, и она только выиграет в площадях, поскольку после окончания ремонта оставит его за собой и будет располагать не одним, а двумя зданиями, никому лучше (пока?) не стало. Ремонт новых помещений как шёл, так и идёт. Перекрытия верхнего этажа оказались столь слабыми, что середина коридора перекрыта, дабы не рухнуть, и профессорам со студентами рекомендовано ходить «по стеночке». А во дворе едва не круглосуточно грохочет техника, озвучивая работы «по благоустройству внутренней территории». Какая уж тут музыка?

Долгих 5 лет ведётся, но скорее якобы ведётся капитальный ремонт исторического здания, уже съевший значительные бюджетные средства. Но, как оказалось, проект реконструкции надо писать заново, заново утверждать, а посему основные работы приостановлены. Но этого мало! За камуфляжными щитами, прикрывающими события на том месте, где когда-то стояла гордость русского и мирового музыкального искусства, снесены практически все стены, часть пространства не подведена даже под временную крышу. И это при нашем-то сыром климате. Четвёртую зиму оголённые останки паркетов и цоколей первого этажа предоставлены всем ветрам, снегам и дождям. Ладно, инструменты, фонды библиотеки и фонотеки, трубы разобранного перед ремонтом уникального органа были аккуратно вывезены и сохраняются. Но как быть с великолепным плафоном Малого зала имени А. Глазунова работы А. Рябушкина? В Великую Отечественную он однажды уже был утрачен. Но гением реставраторов во главе с С. Терскиным был воссоздан по эскизам. А как быть с великолепными скульптурными барельефами этого зала и его фойе? Их-то воссоздать сложнее будет, ведь эскизы практически не сохранились. Есть только фотографии.

А как быть с мраморными лестницами, ступени которых хранят прикосновения ног А. Рубинштейна и П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова и А. Глазунова, А. Лядова и И. Стравинского, Т. Николаевой и М. Ростроповича, Д. Шостаковича и Б. Асафьева, С. Прокофьева и Н. Мяковского, В. Нильсена и В. Горовица, В. Буяновского и П. Серебрякова, И. Браудо и Б. Тищенко, и ещё сотен и сотен других величайших деятелей музыкальной культуры России и мира? Как быть с тем непередаваемым ощущением, что в заведении такого уровня учат не только люди, но и сами стены? Стен-то не осталось. Вместе с возведением «стекляшки» за спиной Мариинского театра уничтожение первой русской Консерватории убило Дух и этого места силы.

Хула на Духа преступление не прощаемое. А уж убийство Духа... Да ещё и многократно свершаемое... А ведь, перефразируя известное высказывание А. Микояна, который говорил не о преступлении, а об аварии, «у каждого преступления есть Имя, Отчество и Фамилия». Ну, и когда же общественности предъявят имена бизнесменов, лоббировавших возведение высоток над Невой и вдоль Московского проспекта, небоскрёба на Лахте, вкуче с именами архитекторов, согласившихся исполнять это варварство? Когда нам прямо назовут имена казнокрадов, причастных к «освоению» 5 миллиардов, отпущенных на убийство консерватории? Когда, наконец, мы сможем услышать объявленный им всем от имени народа справедливый приговор – и не только по суду мирскому, но и Высшим судией? Ведь всё, что на протяжении десятилетий они сотворяли и продолжают сотворять, имеет чёткое определение – это вандализм. Когда вандалы сокрушали памятники ненавистного им Рима, они вовсе не были дикими идиотами. Они понимали, что, сокрушая культуру, громя храмы и библиотеки, они уничтожают базовые элементы народа. Именно через это они окончательно и бесповоротно победили античный Рим. Так что же получается – нынешние вандалы преследуют именно эту цель, не афишируя её? А именно: разгромив культуру, окончательно и бесповоротно победить народ, раз и навсегда «решив русский вопрос», как когда-то желал того Гитлер?

ССЫЛКА НА «Избу-читальню»

<https://www.chitalnya.ru/work/3204457/>

ОГЛАВЛЕНИЕ

А. Крашенинников. Неожиданные рассказы	5
А. Крашенинников. Новые рассказы	20
В. Чернышев. Романтические фантазии	29
Сильвия	54
Убийство Духа города	81

На стр. 54. *N.L. Peschier, Рейксмузеум, Амстердам*
«Vanitas stilleven» (Натюрморт «Тщеславие», 1686)

МИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
о музыке, зодчестве, любви и смерти

А. А. КРАШЕНИННИКОВ
Ц. А. БАЛАКАЕВ
В. И. ЧЕРНЫШЕВ
М. Г. ЖУРАВЛЁВ
et setera

Подписано в печать 25 апреля 2025 года

Формат 60х90 = **88 с.**

Редактор В. И. Чернышев

Размещено на Сайте
spb-pisateli-etc.ru

Издательство «SUPER»

Почта редакции
email: mvnch@mail.ru

СПб
2025 г.